

НАДЕЖДА

ХРИСТИАНСКОЕ
ЧТЕНИЕ



ВЫПУСК 9

+

Сборники „Надежда” – Христианское Чтение – составляются и редактируются в России. Издание их осуществляется при поддержке Православного Дела.

Всю техническую сторону издания, защиту авторских прав участников сборника, коммерческое его распространение за границей и, по возможности, пересылку части тиража в Россию согласилось взять на себя издательство „Посев”.

Да благословит Господь Бог всех участников этого благого начинания.

*Архиепископ Антоний
Женевский и Западно-Европейский*

*Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою.*

НАДЕЖДА

Христианское Чтение

ВЫПУСК 9

НАДЕЖДА
Светлое Воскресение 1981 г.

„Надежда” собирает малоизвестные в России творения Св. Отцов, духовные наставления православных пастырей, свидетельства о жизни во Христе, истории обращения к вере, рассказывает о судьбах русских святых, подвижников, праведников, мучеников за веру, разрабатывает отдельные проблемы развития современной христианской культуры в России, публикует стихи, рассказы, воспоминания и т. д. „Надежда” – единственное и уникальное Христианское Чтение, существующее сегодня в России. „Надежда” может быть только миссионерским изданием, осуществляющимся на пожертвования верующих. Издание „Надежды”, кем бы оно ни предпринималось, не может преследовать никаких целей коммерческого или политического характера. Читатели „Надежды” просят христиан всего мира поддерживать издание и распространение Христианского Чтения, проповедующего Слово Божие тем, кто ищет и ждет Его.

*Составитель „Надежды”
З. Крахмальникова*

Москва, апрель 1981 г.

Большинство печатаемых в „Надежде” рукописей найдено в Самиздате. – С о с т.

Обложка работы художника Адама Русака

Св. Д и м и т р и й Ростовский

СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Когда, православные слушатели, праведнейший Мздовоздаятель каждому по делам восхотел наказать весь мир водами потопа, тогда оставил для всех видов животных одно средство спасения — Ноев ковчег. Кто не находился в нем, погиб в водах; и все, что вошло в него к патриарху Ною, спаслось от смерти в потоке. Равным образом, тот же нелицемерный Судия, умыслив по кончине мира наказать грешных огненным потопом, дал всему человеческому роду одно надежное и спасительное прибежище — Пречистую Деву Марию, ныне простирающую над нами омофор милосердия. Всякий, притекающий под покров Ея, удобно может спастись, а не желающий прибегнуть под этот покров, непременно будет погружен с дьяволами в вечноогненное озеро. Когда и Богоизбранный вождь, Моисей Боговидец, хотел перевести Израильтян чрез бездну Чермного моря, и имел за собой вооруженного гонителя фараона со многими полками, тогда он получил от всемогущего Бога для защиты облак, столь чудо-

Избранные Слова свв. отцов в честь и славу Пресвятой Богородицы. Изд. 4-е. — Москва: Изд. Афонского русского Пантелеймонова монастыря, 1896.

действенный, что он был вместе и светел и мрачен; светел для верных людей Израильских, мрачен для неверных Египтян — одним ради удобного прохождения морской бездны, и другим ради препятствия к преследованию. И для Израильтян этот облак дивно изменялся, смотря по нужде: ночью он был огневидным — для освещения, а во время дневного зноя осеменяющим — для прохладения изнемогших. Вместе с тем он и предводительствовал в землю обетованную; ибо когда он двигался с места, двигались и полки Израильские, и когда он останавливался, останавливались и люди. Равным образом и мы, новый Израиль, ныне имеем подобный тому мысленный облак, данный нам Богом для защиты и пособия — Пречистую и Преблагословенную Деву Марию, явившуюся сегодня на воздухе, которая и есть для нас — нового Израиля — вождь во избежание Чермного моря — огня геенского. Она есть облак, просвещающий нас Божиею благодатию, а гонителя геенского фараона помрачающий Божественною силою, чтобы он не мог достигнуть и погрузить нас. Она светит нам в греховной ночи, как луна в естественной, чтобы мы не заблудились с пути земли обетованной в пустыню вечной гибели. Она осеняет Своим покровительством во время зноя праведного гнева Божия, чтобы мы не сожглись от ярости Его. Пресвятая Дева для нас есть вождь в Иерусалим небесный. — Как орел, возбуждая своих птенцов к летанию, сверху летает над ними, так и Она, воззывая и возвышая сердца наши к небесной высоте, ныне благоволила Сама явиться над нами на воздухе. Нам нужно только там становиться и двигаться, где Она становится и движется. А Она обыкновенно стоит на стенах всяких добродетелей — ду-

шевных и телесных: на этих стенах и нам должно становиться и постоянно стоять. Движение же Ея всегда было от силы в силу, от добродетели в добродетель, от заслуги в заслугу, от земного к небесному, от нижнего к горнему, от юдоли смирения на гору любви и Богомыслия.

И нам должно подражать и последовать Ей, по мере сил наших, отступая от земных мудрствований к небесным, если желаем войти в землю обетованную. Пророк Ездра, получив от царя Кира писание о свободе, данной роду Израильскому — исходит из Вавилона и от земли Персидской и Мидийской в отечественную землю Иерусалимскую, поспешил повсюду предъявить это писание заточенным сынам Израилевым. Так и Пресвятая Дева Мария, получив Своими молитвами и заслугами от Господа всей вселенной, свободное нам — новому Израилю — возвращение от изгнания земного в отечество рая небесного, от Вавилона в Иерусалим горний, являет ныне во Влахернской Церкви честный омофор, давая разуметь, что всякий под ним может безопасно возвратиться в отечество небесного Сиона, хотя бы кто и заточен в дальнейшую страну беззаконий. Итак, притечем, братие, усердно, прибегнем поспешно под Ея Божественное покровительство, умильно взывая: „Под кров Твой прибегаем, Богородице Дево! Молитв наших не презри во обстоянии; но от бед избави нас, едина чистая и благословенная”.

Преблагословенная Матерь простирает Пречистые Свои руки на воздухе с омофором над нами, созывая нас под кров крыл милости Своея, желая нас охранить от врагов видимых и невидимых; подобно тому, как птица обыкновенно, распростерши крылья свои, созывает своих птенцов, чтобы сохранить

их от расхищения, а вместе с тем и согреть. Но сильно опасаясь, чтобы и Она не сказала о нас, новом Израиле, того же, что Сын Ея и Бог говорил об Израиле древнем: *Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки, и каменiem побиваяй посланнныя к тебе, коль краты восхотех собрати чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под криле, и не восхотесте* (Мф. 23, 37).

Много и между нами таких, которые не хотят приникать под кров крил благоутробия Ея. Это не кающиеся в грехах своих, не удаляющиеся от злобы мира сего, не отлагающие дел погибельных, служащие мамоне и чреву, повинующиеся плотским страстям и держащиеся всем сердцем суетного мира. Но хотя и много непритекающих под кров Ея: однакоже Она простирает омофор Своего благоутробия, желая принимать добрых и злых, чистых и нечистых, чтобы спасти всех, подобно Ноеву ковчегу, в котором спаслись животные добрые и злые, чистые и нечистые. Пресвятая Богородица спасает и злых и нечистых людей. И если, как в Ноевом ковчеге все звери преложили свирепость в кротость — там лев не убивал оленя, ястреб не похищал голубя, волк не терзал овцы, медведь коровы, но все стояли мирно и тихо, — так, если злые преложат свое злонаравие на благость, свирепость на кротость, немирлюбие на мир, — получают спасение под кровом святого омофора Ея от геенского потопа и вечной гибели; иначе изгонятся и погибнут.

Во времени, предшествовавшем Новому Завету, мы находим четыре прибежища, спасавшие людей от смерти. В законе естества патриарх Ной с женою, и чадами своими, и женами их, спасся от воды в ковчеге; опять Лот с дочерьми своими от огня на горе.

В Моисеевом законе также читаем о двух прибежищах: одно — сень свидения или храм Божий; Моисей и Аарон, вбежав сюда, спаслись от возмутившегося народа. Второе — шесть городов левитских, названных городами убежища: убивший нечаянно человека, убегая в один из тех городов, не предавался мести отмстителей. Равным образом и в Новом Завете четыре прибежища от гнева Божия.

Первое — Христово человечество и страсти Его, как ковчег: притекающие сюда со слезами покаяния спасаются от потопа греховного.

Второе — святые Божии угодники, как горы: они, живя внизу, мудрствовали горняя и, пребывая на земле плотию, жили на небе духом, по слову Божественного Павла: *наше житие на небесех есть* (Фил. 3, 20). Восходящий на эти горы, молитвенно притекающий ко святым Божиим, бывает свободен от геенского огня.

Третье — Церковь, как сень свидения: притекающий в нее св. крещением, истинным покаянием и прочими Божественными тайнами, получает спасение от вины греха и от долга вечной смерти за всякое преступление.

Четвертое — Пресвятая Дева Мария, как град убежища: сокрушенно прибегающие к Ней не только бывают свободны от рук адского мстителя, но спасаются от самой десницы всемогущего Бога и от меча гнева Его; — от первого силою непобедимую, и от другого молитвами и заступлением. Пресвятая Богородица заступает нас от врагов невидимых и видимых: от видимых, когда дарует благочестивым царям победу над супостатами и когда матерински защищает каждого от наветов лукавых людей; от невидимых — когда предохраняет от коварств и

сетей вражиих. Она защищает нас от неприятельских стрел материнским покровительством Своим и угашает стрелы телесного разжения в нас, как Матерь Сеятеля чистоты и Сама едина чистая и благословенная. Она укрощает ветры гордости, как любительница смирения; утоляет любостяжание, как нищелюбица; защищает от гнева Божия, как мать милосердия; соблюдает от злых случаев, как защитница. Поэтому все немедленно да притечем под омофор благоутробия Ея, всегда простираемый над нами.

В пророческой книге мужа желаний читается, что царь Навуходоносор видел в ночном видении дерево весьма великое, посреди земли, *егоже высота небеси касашеся*, широта *до конец земли простирашеся* (Дан. 4, 8); листья были очень красивы и плодов неисчетное число, достаточное для пропитания всех. В ветвях его гнездились множество различных птиц, а внизу под ним обитали все звери и скоты, и питались плодами его. Это дерево иносказательно означало самого царя Навуходоносора, как истолковал муж желаний; но знаменование его удобно приложить также и к Пречистой Деве Марии. Она — дерево, потому есть жезл, прозябший от Иессеева корня; — безмерно великое, потому что высота заслуг Ея и чести превосходит небо и все силы небесные; широта же славы Ея простирается во все концы земли, по проречению Самой Божией Матери: *се бо отныне ублажат Мя вси роди* (Лк. 1, 48). И листья покровительства Ея весьма красивы, обильны для покрытия всех притекающих и могущие прохладить как от греховного зноя, так и гнева Божия. Плод Ея прекрасный; потому что о Нем сказано: *благословен плод чрева Твоего* (Лк. 1, 42), и самое дерево ради этого плода ублажается такими слова-

ми: *блаженно чрево, носившее Тя, и сосца, яже еси ссал* (11, 27). Этот плод — Бог воплощенный, который так обилен, что удовлетворяет каждого, смотря по нужде. Алчет ли кто? Он есть хлеб, как Сам сказал неложно: *Аз есмь хлеб животный*. Жаждет ли кто? Он есть источник воды, *от неяже пияй не вжаждется во веки* (Ио. 6, 48; 4, 14). Болит ли кто? Он есть врач небесный. Нищ ли кто? Он есть сокровище неоскудеваемое. Печален ли кто? Он есть утешитель. Горестно ли кому? Он есть сладость. Желает ли кто жить? Он есть живот. Умирает ли кто? Он есть воскресение наше. Он есть плод добропищный, потому что питает и оживляет всех верных Пресвятым Своим Телом и животворящею Кровию в Божественных Тайнах. В ветвях же благодати этого дерева, как птицы небесные, почивают все святые и праведные, потому что спасаются ходатайством Ея; под ветвями живут все звери и скоты, то есть все грешники, по Ея заступлению, пребывают неистребленными праведною казнию от Бога.

Таким образом, люди сколько совершают грехов, столько уподобляются зверям и обращаются в скотов, не по природе, а нравами: поэтому хищников обыкновенно называют волками, ропотников — псами, хитрых — лисицами, жестоких — львами, боязливых — зайцами, ленивых — ослами, нечистых — свиньями и т. д. О таком обращении Псалмопевец говорит: *человек, в чести сый, не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им* (Пс. 48, 13).

Итак, эти звери и скоты, под ветвями мысленного дерева, под покровом и защитою Пресвятой Девы Марии, живут в мире сем и не погибают, — не для того, чтобы сделаться добычею геенских

ловителей, но, чтобы, отложив дикость и зверонравие, облечься в приличие человеческих нравов; оставив козлию шерсть, обрости агнчею волною и вечно пребыть в Христовом стаде, на небесных пажитях Его: здесь — на пажитях слова и благодати, там — вечной славы. В противном случае, как рыбаки, вынимая из мреж своих рыб, жаб и змеев выбрасывают на попрание: так неисправимые грешники будут извержены из-под покрова Пресвятой Богородицы. И как пастырь отлучает козлов от овец, Так Господь Иисус Христос в день праведного суда Своего отлучит злых от благих, скотов от человек; — и злых ввергнет в вечный огонь, как плевелы на сожжение; а благих введет в вечную жизнь, как пшеницу в вечную житницу (Мф. 25, 46).

Это дерево не дикое и лесное, но мысленное и словесное; потому что оно покровительствует безотметно словесных зверей, то есть человек, пребывающих в истинном разуме, а звероподобных непременно изгоняет от покрова своего. Потому всякий, желающий почивать в тени этого дерева, да извлечется как бы кожи дикого зверя — *ветхого человека*, да облечется же в нового, обновляемого духом (Еф. 4, 22, 23). Всякий хотящий веселиться в этом городе убежища, да бежит к нему путем покаяния. Каждый желающий покрыться омофором заступления Божией Матери, да поспешает под кров крил Ея. Се, как птица покрывает крыльями своими яйца свои, чтобы вывести себе птенцов, — распростирает и Она крила благоутробия Своего над нами, чтобы зверство наше претворить в человечество, и отродить нас чадами Богу и Себе, и, таким образом, мы сделались бы Божиими наследниками в

царстве Его, сонаследниками же Христа. Ему пододает честь и поклонение, с безначальным Отцем Его, и с Пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

Св. Григорий Богослов,
архиепископ Константинопольский

СЛОВО 16

НА ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ *

Что скажем о Маккавеях? — Настоящее собрание — для них. И хотя немногие их чествуют, потому что подвизались не после Христа; однако же они достойны, чтобы все их чествовали, потому что терпели за отеческие законы. Соделавшись мучениками прежде Христовых страданий, чего не совершили бы они, подвергшись гонению после Христа и став подражателями Его за нас смерти? И без такого образца показав столько доблести, не оказались ли бы они еще более мужественными, если бы страдали, взирая на пример Христов? Но есть также таинственное и сокровенное учение (весьма вероятное для меня и для всякой боголюбивой души), по которому, из достигавших совершенства прежде пришествия Христова, никто не достигал сего без веры во Христа. Ибо Слово, хотя ясно открылось уже впоследствии, в определенное время, однако же умам чистым было ведомо и прежде, как показывают многие, прославленные до Христа. Почему и

* Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, т. 1.

Маккавеев нельзя унижать за то, что страдали прежде Креста. Но поелику пострадали по закону крестному, то и достойны похвал, и должны быть почтены словом — почтены не для того, чтобы получила приращение собственная их слава (слово прибавит ли славы тем, чьи дела славны?), но чтобы прославились восхваляющие, и поревновали доблестям их слышащие, в воспоминании о них находя для себя побуждение к равным подвигам.

Кто и откуда были Маккавеи, чьим руководством и наставлением пользуясь вначале достигли такой доблести и славы, что почтены сими ежегодными торжествами и собраниями, и что для них в душе каждого соблюдается слава, которая выше видимого прославления — все сие для людей любопытных и трудолюбивых покажет сочиненная о Маккавеех книга*, которая, любомудрствуя о том, что разум есть самовластитель над страстями и господин наклонностей к тому и другому, то есть к добродетели и пороку, в доказательство на сие, между немалочисленными другими свидетельствами, приводит и подвиги Маккавеев. А для меня достаточно будет сказать следующее.

Здесь Елеазар — начаток пострадавших до Христа (как Стефан — первенец страдавших после Христа), иерей и старец, седый власами, седый и мудростью, приносивший прежде жертвы и молитвы за народ, а теперь приносящий самого себя Богу в жертву совершеннейшую, в очищение всего народа — Благознаменательное предначинание подвига! вместе и велегласное и безмолвное назидание! Но он приво-

* Сочинение Иосифа Флавия под заглавием: В честь Маккавеев, или о самовластителе разуме.

дит и семерых юношей — плод собственных его наставлений, *жертву живу, святу, благоугодну Богови* (Рим. 12, 1), жертву, которая славнее и чище всякого подзаконного священнодействия. Ибо доблести сынов вменить отцу — всего законнее и справедливее.

Там сыны, мужественные и великие духом, благородные отрасли благородной матери, ревностные подвижники за истину, достойные времен не Антиоховых, истинные ученики Моисеева закона, точные блюстители отечественных нравов, составляющие одно из чисел, уважаемых евреями — число отличное таинством семидневного покоя, одним дышат, одно имеют в виду, один знают путь жизни — умереть за Бога! Они столько же братья по душе, как и во плоти, ревнуют друг другу в желании смерти (дивное зрелище!); как сокровища, превосхищают один у другого мучения, твердо стоят за *пестуна*, то есть за закон, не столько боятся уготованных им мук, сколько желают тех, которых еще не видят; одного только страшатся, чтобы мучитель не прекратил истязаний, чтобы которому либо из них не остаться неувенчанным, не разлучиться поневоле с братьями и не стать худым победителем, избежав, к несчастью, страданий.

Там мать бодрая и мужественная, вместе чадолюбивая и боголюбивая, терпит в матернем сердце терзания, невероятные по природе. Она не о страждущих сынах жалеет, но мучится опасением, что сыновья не будут страдать; не столько скорбит об отшедших, сколько желает, чтобы присоединились к ним оставшиеся; у нее более заботы о последних, нежели о преставившихся; потому что одним предстоит еще сомнительная борьба, а других кончина сделала безопасными; одних она вру-

чила уже Богу, о других еще беспокоится; как примет их Бог. — Какая мужественная душа в женском теле! Какое чудное и великодушное усердие! Подлинно — Авраамова жертва и, если не дерзко будет сказать, даже более Авраамовой! Авраам охотно приносит единого сына, правда, — единородного, рожденного по обетованию, — сына, для которого дано было обетование, и (что важнее) который назначен быть начатком и корнем не только рода, но и подобных жертв: она же осветила Богу целый народ сынов; она и матерей и жрецов превзошла числом жертв, готовых на заклятие всесожжений умных священноприношений, спешащих к алтарю. Она указывала на грудь, напоминала о питании, свидетельствовалась сединою, употребляла старость в ходатайство за свои прошения, не для того, чтобы спасти детей от смерти, но чтобы побудить их к страданиям; потому что почитала для них опасностью не смерть, но замедление смерти. Ничто ее не колебало, ничто не приводило в расслабление, не лишало радости: ни приготовленные деревянные дыбы, ни поставленные колеса, ни блоки, ни подмости, ни острота железных когтей, ни изощренные мечи, ни кипящие котлы, ни разведенный огонь, ни грозный мучитель, ни скопление народа, ни окружающая воинская стража, ни предстоящие соплеменники, ни расторжение членов, ни терзание плоти, ни потоки текущей крови, ни погубляемая юность, ни настоящие ужасы, ни ожидаемые страдания. И что для других бывает тяжелее всего в подобных случаях, то есть продолжительность бедствия, то для нее было всего легче. Она услаждалась зрелищем, как ни длилось страдание, не только от разнообразия употребляе-

мых истязаний (которые все действовали на нее менее, нежели на другого подействовало бы одно какое-нибудь истязание), но и оттого, что гонитель испытал все роды речи — то ругал, то грозил, то ласкал. Ибо к каким средствам ни прибегал он, чтобы достигнуть желаемого?

Но ответы юношей мучителю, по моему мнению, столько показывают мудрости и мужества, что как доблести других, взятые вместе, малы в сравнении с их терпением, так и самое терпение мало в сравнении с благоразумными их речами. И им только одним свойственно было так страдать и с таким любомудрием отвечать на угрозы мучителя, на все, чем их устрашали, и что нимало не преодолело ни мужественных сынов, ни еще более мужественной матери. Она, став выше всех и с материнскою любовью соединив силу духа, приносит себя в прекрасный погребальный дар детям; и сама следует за отшедшими прежде нее. И притом как? — Добровольно идет на страдания, не допустив даже, чтобы нечистое тело прикоснулось к ее чистой и мужественной плоти. И какие произносит она надгробные слова! — Прекрасны, даже прекраснейшие из прекрасных были ответы сынов мучителю. Ибо не прекрасны ли те речи, вооружась которыми, низлагали они мучителя? Но еще прекраснее были речи матери, сперва увещательные, а потом надгробные.

Итак что же произнесено было сынами? Теперь весьма благовременно возобновить сие в вашей памяти, чтобы иметь вам из сих времен образец как подвижничества, так и мученических речей. Каждый из братьев говорил что-нибудь свое, как ополчали его словом гонителя, очередь страдания и

душевная ревность. Но если все речи их привести в одну, то говорили они так:

„Антиох, и вы все предстоящие здесь! У нас один царь — Бог, от Которого получили мы бытие, и к Которому возвратимся; один законодатель — Моисей, которому (клянемся в том бедствиями, какие претерпел он за добродетель, и многими его чудесами) мы не изменим и не нанесем бесславия, хотя бы угрожал другой Антиох, который и тебя свирепее. Для нас одно безопасное прибежище — соблюдать заповеди и не нарушать закона, которым ограждаемся как стеною. У нас одна слава — для славы нашего закона презирать всякую славу; одно богатство — те блага, которых надеемся. А страшно-го для нас нет, кроме одного — убоиться чего-либо паче Бога. С такими мыслями и с таким оружием выступаем мы на брань; с такими юношами имеешь ты дело. Хотя вожделенны для нас и мир сей, и отечественная земля, и друзья, и сродники, и сверстники, и сей великий и славный храм, и отеческие праздники, и таинства, и все, в чем поставляем свое преимущество пред другими народами; однако же не вожделеннее Бога и страданий за доброе дело. Нет, и не думай сего! Ибо для нас есть другой мир, который выше и постояннее видимого. Наше отечество — горний Иерусалим, которого никакой Антиох не отважится держать в осаде и не понадеется взять; так он крепок и неодолим! Наше родство — Божие вдохновение и все доблестно рожденные. Наши друзья — пророки и патриархи, служащие для нас образцом благочестия. Наши сверстники — все ныне бедствующие и современные нам в терпении. А храмом у нас великолепное небо; и празднество наше — ликостояния Ангелов. У нас одно

великое, даже величайшее и для многих сокровенное таинство — Бог, Который есть цель и здешних таинств.

Итак, не обольщай больше нас обещаниями вещей маловажных и ничего не стоящих. Не придаст нам чести бесчестное; не обогатит нас вредное; мы не решимся на такую жалкую куплю. Прекрати свои угрозы: иначе мы сами станем грозить тебе, чтобы обличить твое бессилие, и показать, какие у нас готовы тебе казни. Ибо есть у нас и огонь, которым мучим гонителей. Не думаешь ли, что борешься с народами, городами и самыми изнеженными царями, из которых одни держат верх, а другие, может быть, останутся и побежденными, потому что для них не такого рода опасность?

Ты восстаешь против Божия закона, против благоначертанных скрижалей, против наших отеческих постановлений, получивших важность и по своему высокому значению и по давности, восстаешь против семи братьев, которые живут как бы одною душою и опозорят тебя семью победными памятниками. Не важное дело — победить их; но великий стыд — потерпеть от них поражение!

Мы потомки и ученики тех, которых путеводил столп огненный и облачный, для которых расступилось море и стала река, остановилось солнце, дождем был хлеб, воздеяние рук обращало в бегство тысячи врагов, низлагая их молитвою, перед которыми укрощались звери, к которым не прикасался огонь, которых мужеству дивились и уступали цари. Скажем нечто и тебе самому известное: мы ученики Елеазара, мужество которого тебе изведено. Сперва совершил свой подвиг отец,

теперь вступают в борьбу дети; жрец уже отошел, вслед на нем пойдут и жертвы.

Ты устрашаешь многих, но мы готовы еще на большее. Да и что сделаешь нам своими угрозами, горделивец? Какое причинишь нам зло? Никто не превзойдет крепостию готового на все страдания. Что ж медлит народ? Почему не приступают к делу? Для чего ожидать милостивого повеления? Где мечи? Где оковы? Пусть разводят больше огня, выпускают самых сильных зверей, готовят самые отличные орудия мучений, чтобы все было по-царски и стоило дорого! — Я первородный; меня принеси прежде в жертву. — Я последний из братьев; лучше изменить порядок. — Нет, пусть кто-нибудь из средних делается первою жертвою, чтобы все мы были почтены равно. Но ты щадишь и ждешь, что переменим мысли. Еще, и не раз, повторяем тебе то же слово: мы не вкусим нечистого, не изъявим своего согласия; скорее ты уважишь наши постановления, нежели мы покоримся тебе; короче сказать: или изобрети новые казни, или убедись, что мы презираем те, которые ты нам приготовил”.

Так говорили братья мучителю; а как убеждали они друг друга! и какое представляли из себя зрелище — подлинно прекрасное и священное! Для душ боголюбивых оно приятнее всего, что только можно видеть и слышать. Я сам, при одном воспоминании, исполняюсь удовольствием, созерцаю пред собою мысленно подвижников и услаждаюсь повествованием о них. Они обнимали и лобызали друг друга; для них наступил праздник, как бы по совершении уже подвигов.

„Пойдем, братья, — зывали они, — пойдем,

поспешим на мучения, пока мучитель пылает еще на нас гневом, чтобы нам не утратить спасения, если он смягчится. Пир готов: не лишим себя оного. Прекрасно видеть братьев, которые живут *вкупе* (Пс. 132, 1), вместе веселятся, и служат друг другу щитом; но еще прекраснее, если они вместе бедствуют за добродетель. Если бы за отеческие постановления можно было подвизаться с оружием в руках; и в таком случае смерть была бы похвальна. Но поелику не сего требуют обстоятельства, то принесем в жертву самые тела. Да почему же и не пожертвовать ими? Если не умрем теперь, то разве никогда не умрем? разве никогда не воздадим должного природе? Лучше обратим в дар, что надобно уступать по необходимости: перехитрим смерть: всем общее обратим в свою собственность и ценою смерти купим жизнь. Ни один из нас да не будет животолюбив и робок. Пусть мучитель, преткнувшись о нас, отчаеся и в других. Пусть сам он назначает порядок, кому за кем страдать; если кто и заключит собою ряд гонимых, — сие не сделает различия в горячности нашего усердия. Первый из пострадавших да будет путем для других, а последний — печатью подвига. Все с равною твердостью положим на сердце, чтобы целым домом приобрести нам венцы, чтобы гонитель не имел в нас ни единой доли и не мог в кичении злобы похвалиться победою над всеми, победив одного. Докажем, что мы друг другу братья не только по рождению, но и в самой смерти; постраждем все как один и каждый из нас да постраждет равно всем. Приими нас, Елеазар; последуй за нами, мать; погребви великолепно мертвецов своих Иерусалим, если только останется что для гроба; рассказывай

о нас последующим родам, и читателям твоим показывай священное место погребения единоутробных”.

Так говорили и действовали они; так по старшинству лет поощряли друг друга, подобно тому, как вебрь острит один зуб другим. Все они сохраняли одинаковую ревность, к удовольствию и удивлению единоплеменников, в страх и ужас врагам. И враги хотя смело ополчились против целого народа, но единодушием седми братьев, подвигающихся за благочестие, столько были посрамлены, что теряли уже приятную надежду одолеть и прочих.

А мужественная и подлинно достойная таких доблестных сынов мать, эта великая и высокая духом питомица закона, порываемая двумя сильными движениями сердца, ощущала в себе смешение и радости и страха — радости, по причине мужества сынов и всего ею видимого, — страха, по неизвестности будущего и по причине чрезмерных мучений. И как птица, которая видит, что змея ползет к птенцам или другой кто злоумышляет против них, она летала вокруг, била крылами, умоляла, разделяла страдания детей. И чего ни говорила, чего ни делала, чтобы воодушевить их к победе! То похищала капли крови, то поднимала отторженные части членов, то благоговейно припадала к останкам; собирала члены одного сына, а другого отдавала мучителям, и третьего приготавлила к подвигу. Всем возглашала:

„Прекрасно, дети! прекрасно, доблеи мои подвижники, почти бесплотные во плоти, защитники закона моей седины и святого града, который вас воспитал и возвел на такую высоту доблестей! Еще немного; и мы победили! Мучители утомились — сего одного боюсь. Еще немного; и я — блажен-

ная из матерей, а вы — блаженные из юношей! — Но вам жалко разлучиться с матерью? — Не оставляю вас; обещаю вам это. Я не ненавистница детей своих”. Когда же она увидела, что все скончали жизнь и своею смертью избавили ее от беспокойств; тогда со светлым взором подымлет голову и, подобно олимпийскому победителю, с бодрым духом воздевши руки, громко и торжественно говорит:

„Благодарю Тебя, Отче Святыи! Благодарю Тебя, наставник наш — закон! Благодарю тебя, наш отец и поборник чад твоих, Елеазар! Благодарю, что принят плод болезней моих, и я соделалась матерью, священнейшею из матерей! Ничего не осталось у меня для мира; все отдано Богу — все мое сокровище, все надежды моей старости. Какая великая для меня почесть! как прекрасно обеспечена старость моя! Теперь я вознаграждена за воспитание ваше, дети — видела, как подвизались вы за добродетель, сподобилась увидеть всех вас увенчанными; даже на истязателей ваших смотрю как на благодетелей; готова свидетельствовать благодарность мучителю за это распоряжение, по которому соблюдена я для страданий последняя, чтобы, изведя прежде на позорище рожденных мною, и в каждом из них совершив мученический подвиг, по принесении всех жертв, перейти мне отселе в полной безопасности. И я не буду рвать на себе волос, раздирать одежды, терзать ногтями плоти, не стану возбуждать к слезам, созывать плачущих, заключаться в темное уединение, чтобы самый воздух сетовал со мною, не буду ожидать утешителей и предлагать хлеба скорби. Все это прилично матерям малодушным, которые бывають матерями только по плоти, у которых дети умирают, не оставив по

себе доброго слова. А вы у меня, любезнейшие дети, не умерли, но принесены в дар Богу; не навсегда разлучились со мною, но только преселились на время; не расточены, но собраны вкупе; не зверь похитил вас, не волна поглотила, не разбойник погубил, не болезнь сокрушила, не война истребила, и не другое какое-либо постигло вас бедствие, более или менее важное из обычных людям. Я стала бы плакать, даже горько плакать, если бы случилось с вами что-либо подобное. Тогда бы слезами доказала я свое чадолюбие; как доказываю ныне тем, что не проливаю слез. Мало сего. Тогда бы я действительно стала оплакивать вас, когда бы вы, к вреду своему, спаслись от мучения, когда бы мучители восторжествовали над вами и одержали верх хотя над одним из вас, как теперь побеждены вами сами гонители. А что совершилось ныне — это похвала, радость, ликование и веселие для оставшихся. Но и я приношусь в жертву вслед за вами. И я буду сравнена с Финеесом, прославлена с Анною. Даже еще больше, потому что Финеес ревновал один, а вы явились многочисленными крателями блудников, поразив блудодеяние не плотское, но духовное; и Анна посвятила Богу одного, Богом же данного, притом недавно рожденного сына; а я освятила семерых возмужавших и притом пожертвовавших собою добровольно. Да восполнит мое надгробное слово Иеремия, не оплакивающий, но восхваляющий преподобную кончину! Вы *просветились паче снега*, сгустились паче *млека* и лучше *камне сапфира* стал сонм ваш — рожденные и принесенные в дар Богу (Плач. Иер. 4, 7)! Что же еще? Присоедини и меня к детям, мучитель, если и от врагов можно ждать милости.

Присоедини и меня — такая борьба будет для тебя славнее. О как бы желала я претерпеть все те муки, какие терпели они, чтобы кровь моя смешалась с их кровью, и старческая плоть — с их плотию! Для детей люблю самые орудия их страданий. Но если не будет сего: по крайней мере прах мой да соединится с их прахом, и один гроб да примет нас! Не позавидуй равночестной кончине тех, которые равночестны по доблестям. Прощайте, матери, прощайте, дети! И матери так воспитывайте рожденных вами, и дети так воспитывайтесь! Прекрасный пример подали мы вам, как подвизаться подвигом добрым”.

Так сказала она и приложилась к сынам своим. Но как? спросите. — Как на брачное ложе, востекши на костер, на который была осуждена. Не стала ждать, чтобы кто-нибудь возвел ее, не попустила, чтобы нечистое тело коснулось ее чистой и мужественной плоти.

Так Елеазар наслаждался священством; так сам был посвящен и других посвятил в небесные таинства: не внешними кроплениями, но собственною кровью, освятил Израиля, и последний день жизни соделал совершительным таинством! Так сыны насладились юностью; не сластолюбию раболепствуя, но возобладав над страстями, очистили тело и преставились к бесстрастной жизни! Так мать насладилась многочадием, так украшалась детьми при жизни их и опочила вместе с отшедшими! Рожденных для мира представила она Богу, по числу их подвигов вновь исчислила свои болезни рождения, и старшинство детей узнала из порядка, в каком они умирали; потому что подвизались все, от первого до последнего, и как волна следует за

волною, так они — один за другим, оказали доблесть, и один готовее другого шел на страдания, уже укрепленный примером перед ним пострадавших. А посему мучитель был рад, что она не была матерью большего числа детей; иначе бы остался еще более посрамленным и побежденным. И тогда только в первый раз узнал он, что не все можно преодолеть оружием, когда встретил безоружных юношей, которые, ополчившись одним только благочестием, с большею ревностью готовы были все претерпеть, нежели с какою готовился сам он подвергнуть их страданиям.

Такая жертва была благоразумнее и величественнее жертвы Иеффаевой; потому что здесь ни пламенность обета, ни желание нечаемой победы, не делали приношения, как там, необходимым; напротив того, совершенно добровольное жертвоприношение, и наградою за оное служили одни уповаемые блага. Такой подвиг ничем не ниже подвигов Даниила, который предан был на съедение львам, и победил зверей воздеянием рук: он не уступает мужеству отроков из Ассирии, которых Ангел бросил в пламень, когда не согласились они нарушить отеческого закона, и не прикасались к скверным и неосвященным снедам. А по усердию не менее важное он и тех жертв, какие впоследствии принесены за Христа. Ибо страдавшие за Христа, как сказал я в начале слова, имели пред очами кровь Христову, и вождем их в подвигах был сам Бог, принесший за нас столь великий и чудный дар; а Маккавеи не имели пред собою ни многих, ни подобных примеров доблести. Их терпению дивилась вся Иудея; она радовалась и торжествовала, как будто бы сама была тогда увенчана; потому что и ей

предлежал при сем подвиг, даже величайший из подвигов, когда-либо предстоявший Иерусалиму, — или видеть в сей день поправление отеческого закона, или прославиться. Участъ всего еврейского рода зависела от подвига Маккавеев, и находилась как бы на острие меча. Сам Антиох изумлялся: так угрозы его превратились в удивление, потому что великим подвигам умеют дивиться и враги, когда пройдет гнев, и дело оправдывает само себя. Посему он удалился, не получив успеха, и как много хвалил отца своего Селевка за уважение к иудейскому народу и за щедрость к храму, так сильно укорял Симона, побудившего к войне, признавая его виновником бесчеловечия и бесславия.

Будем подражать Маккавеям, и священники, и матери, и дети; священники — в честь Елеазара, духовного отца, показавшего пример и словом и делом; матери, в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми и да представят чад своих Христу, чтобы самый брак освятился таковою жертвою; дети да почтят святых юношей и да посвящают время юности не постыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воует посредством всех членов наших и много-различно гонит нас. Ибо желаю, чтобы были подвижники для всякого времени и случая, из всякого рода и возраста, подверженного и явным нападениям и тайным наветам врагов. Желаю, чтобы пользовались древними сказаниями, но пользовались также и новыми, и подобно пчелам, отовсюду собирали полезнейшее в состав единого сладкого сота, дабы и чрез Ветхий и чрез Новый Завет прославлялся в нас Бог, славимый в Сыне и в Духе, знающий

Своих и знаемый своими, исповедуемый и исповедующий, прославляемый и прославляющий в самом Христе, Которому слава во веки. Аминь.

УМНОЕ ДЕЛАНИЕ. ИИСУСОВА МОЛИТВА

Изречения свв. отцов и подвижников благочестия

+

Некоторые утверждают, что от управления Иисусовою молитвою всегда, или почти всегда, последует прелесть, и запрещают заниматься этою молитвою.

В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойная сожаления прелесть. Господь наш Иисус Христос есть единственный источник нашего спасения, единственное средство нашего спасения; человеческое имя Его заимствовало от божества Его неограниченную, всесвятую силу спасти нас; как же эта сила, действующая во спасение, эта единственная сила, дарующая спасение, может извернуться и действовать в погибель? Это — чуждо смысла! Это — нелепость горестная, богохульная, душепагубная! Усвоившие себе такой образ мыслей, точно находятся в бесовской прелести, обмануты лжеименным разумом, исшедшим из сатаны.

Из сборника, составленного игуменом Харитоном (Валаамский монастырь, 1936 год), Самиздат. В сборник вошли изречения епископа Феофана (Говорова), епископа Игнатия (Брянчанинова), Симеона, архиепископа Солунского, св. Григория Паламы, преп. Нила и других авторов Добротолюбия.

Рассмотри все Священное Писание: увидишь, что в нем повсюду возвеличено и прославлено имя Господне, превознесена сила Его, спасительная для человека. Рассмотри писание отцов: увидишь, что все они, без исключения, советуют и заповедуют упражнение в молитве Иисусовой, называют ее оружием, которого нет крепче ни на небе, ни на земле, и называют ее богоданным, неотъемлемым наследием, одним из окончательных и высших завещаний Богочеловека, утешением любвеобильным и сладчайшим, залогом достоверным. Наконец, обратись к законоположению Православной Восточной церкви: увидишь, что она для всех неграмотных чад своих — и монахов, и мирян — установила заменять псалмопение и молитвословие на келейном правиле молитвою Иисусовою. Что же значат пред единогласным свидетельством Священного Писания и всех свв. отцов, пред законоположением Вселенской церкви о молитве Иисусовой противоречащие ей учения некоторых слепцов, прославленных и прославляемых подобными же слепцами?

+

От непрестанной молитвы подвижник приходит в нищету духовную, приучаясь непрестанно просить помощи Божией, он постепенно теряет упование на себя; если сделает что благопоспешно, видит в том не свой успех, а милость Божию, о которой он непрестанно умоляет Бога. Непрестанная молитва руководствует к стяжанию веры, потому что непрестанно молящийся начинает постепенно ощущать присутствие Бога. Это ощущение мало-помалу может возрасти и усилиться до того, что око ума яснее будет видеть Бога и в Промысле Его, нежели

сколько видит чувственное око вещественные предметы мира; сердце ощутит присутствие Бога. Узревший таким образом Бога и ощутивший Его присутствие не может не уверовать в Него живую верою, являемою делами. Непрестанная молитва уничтожает лукавство надеждою на Бога, вводит в святую простоту, отучая ум от разнообразных помыслов, от составления замыслов относительно себя и ближних, всегда содержа его в скудости и смирении мыслей, составляющих его поучение. Непрестанно молящийся постепенно теряет навык к мечтательности, рассеянности, суетной заботливости и многопопечительности, теряет тем более, чем более святое и смиренное поучение будет углубляться в его душу и вкореняться в ней. Наконец, он может придти в состояние младенчества, заповеданное Евангелием, соделаться буим ради Христа, то есть утратить лжеименный разум мира и получить от Бога разум духовный. Непрестанною молитвою уничтожается любопытство, мнительность, подозрительность. От этого люди все начинают казаться добрыми, а от такого сердечного залога к людям рождается к ним любовь. Непрестанно молящийся пребывает непрестанно в Господе, познает Господа как Господа, стяжает страх Господень, страхом входит в чистоту, чистотою в Божественную любовь. Любовь Божия исполняет храм свой дарованиями духа.

+

Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и никогда не забывать, что ему необходимо соединиться с Господом, Спасителем всем существом своим — надобно дать Ему, Господу, все-

литься в уме и сердце нашем, необходимо начать жить Его пресвятою жизнью. Он принял плоть нашу, а мы должны принять и плоть и всесвятой Дух Его — принять и хранить навсегда. Только такое соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то благоволение, тот свет и ту жизнь, кои потеряны нами в Адаме первом и возвращаются теперь на Адама второго — Господа Иисуса Христа. А к такому соединению с Господом, после причащения Тела и Крови Его лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова, которая читается так: „*Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!*”

+

Молитва называется *умною*, когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца; *сердечною* — когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца воссылает молитву; *душевною* — когда совершается от всей души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа, причем все существо содельвается как бы едиными устами, произносящими молитву.

Свв. отцы в писаниях своих часто заключают под одно наименование умной молитвы и сердечную и душевную, а иногда различают их. Так, преподобный Григорий Синайский сказал: „Непрестанно зови умне или душевне”. Но ныне, когда учение из живых уст об этом предмете крайне умалилось, весьма полезно знать определительное различие. В иных более действует умная молитва, в других — сердечная, а в иных — душевная, смотря по тому, как каждый наделен Раздаятелем всех благ, и естест-

венных, и благодатных; иногда же в одном и том же подвижнике действует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма часто и по большей части сопутствуется слезами.

+

Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешней молитвы с внутренней, не суть монахи. Определение очень верное! Монах значит уединенный: кто не уединился в сердце своем, в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему всегда свободный доступ, и сам болезненно, без всякой нужды и пользы, зловредно для себя скитается по вселенной. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой.

Достижение же бесстрастия, освящения или, что то же, христианского совершенства, без стяжания умной молитвы, невозможно; в этом согласны все отцы.

Путь истинной молитвы содельвается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клетке соделается вожденным для него, — тогда соделается вожде-

ленною и теснота по наружному жительству, как служащая обителию и хранилищем внутренней деятельности.

+

В действии молитвы Иисусовой не должно быть никакого образа, посредствующего между умом и Господом, и слова произносимые не главное суть, а посредствующее.

Главное — умное пред Господом в сердце предстояние. Се умная молитва, а не слова. Слова здесь то же суть, что слова всякой другой молитвы. Существо умной молитвы в хождении пред Богом, а хождение пред Богом есть неотходящее от сознания убеждение, что Бог, как везде есть, так и в нас есть, и видит все наше внутреннее — видит даже более, нежели мы сами. Это сознание ока Божия, смотрящего внутрь нас, тоже не должно иметь образа, а все должно состоять в простом убеждении или чувстве. Кто в теплой комнате, тот чувствует, как теплота охватывает его и проникает. То же должно происходить и в духовном нашем человеке от вездесущего и всеобъемлющего Бога, который огонь есть. Слова „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя” хоть суть орудие, а не существо дела, но орудие очень сильное и многодейственное, ибо имя Господа Иисуса страшно для врагов нашего спасения и благословительно для ищущих Его. Не забудьте, что дело сие просто и никаких причудливостей не имеет и не должно иметь. Молитесь о всем Господу, Пречистой Владычице и ангелу-хранителю, и они вас научат или сами или через других.

С первого пробуждения утром озаботьтесь собраться внутрь и возгреть теплоту. Это считайте нормальным вашим состоянием. Коль скоро нет сего, знайте, что у вас внутри неисправно. Поставив себя утром в такое собранное и согретое состояние, затем все обязательное надо исправлять так, чтобы тем не разорять своего внутреннего настроения, а из произвольного то, что поддерживает сие состояние, делать, что же расстраивает его, того ни под каким видом не делать, ибо это значило бы враждовать против самого себя... Поставьте только законом хранить собранность и теплоту, умом стоя в сердце пред Господом. Тогда это само укажет, что и как должно делать или что должно позволять себе и чего не должно.

Всесильное пособие к сему есть молитва Иисусова. Надобно навыкнуть ей так, чтобы она непрестанно читалась там, где место сердца. А чтоб навыкнуть, надобно потрудиться. Теперь же возьмитесь за сие дело. Или вы уже знакомы с ним? Мне показалось, что вы творите сию молитву только на правиле. На правиле — своим чередом, а то непременно надо творить ее, сидя, ходя, вкушая пищу, работая. Если она не держится крепко в сердце, можно, оставя все, ею одною заняться, пока внедрится. Это дело просто. Стать пред иконами в молитвенное положение (можно сесть) и, низшедши вниманием туда, где место сердца, творить там неспешно Иисусову молитву при памятовании присутствия Божия. Так полчаса, час или больше. Сначала трудновато, а когда навык приобретется, это будет совершаться будто натурально, как совершается дыхание.

При таком устройстве вашего внутреннего начнется в вас умная жизнь или, как говорят, умное делание. Первое тут есть требование чистоты совести, ее безукоризненности не пред Богом только, но и пред людьми и пред собою, даже пред вещами. Почему мало-мало проскользнет что в мысли или слове, смущающее совесть, сейчас надо каяться внутренне пред Господом, который все видит и умиротворит совесть...

Остается одна борьба с помыслами, которые то и дело будут жужжать, как комары безотвязные. Учитесь сами, как с ними управляться. Опыт — наука. Одно скажу. Обычно помыслы кружатся в голове. Это пустые. Но вы смотрите за теми, которые как стрелю пронизывают сердце и оставляют там след, сей молитвою восстановив на месте его противоположное чувство. Когда хранится теплота, эти случаи редки и слабы.

+

Бог везде есть и всегда с нами, при нас и в нас есть. Но мы не всегда с Ним бываем, ибо не помним о Нем, и потому что не помним, позволяем себе много такого, чего не позволили бы, если бы помнили. Возьмите на себя труд навязать в этой памяти!

Поставьте себе законом: с Господом всегда быть умом в сердце и блуждать мыслями не позволять, а как только уйдут, опять ворочать их назад и заставлять сидеть дома, в клети сердца и беседовать со сладчайшим Иисусом.

+

Когда утвердитесь во внутреннем человеке памятью Божиею, тогда и Христос Господь вселится в вас. То и другое идет вместе.

И се вам знамение, по коему можете удостовериться, что предивное дело сие начало совершаться в вас, именно: теплое некое чувство к Господу. Если будете исполнять все прописанное, то чувство такое скоро начнет появляться и все чаще и чаще, а потом делается непрерывным. Чувство сие сладостно и блаженно и с первого появления своего возбуждает желание и искание его, чтобы оно не отходило от сердца, ибо в нем рай.

Хотите ли поскорее вступить в сей рай? Вот что делайте: когда молитесь, не отходите от молитвы, не возбуждая в сердце какого-либо чувства к Богу — или благоговения, или преданности, или благодарения, или возвеличения, или смирения и сокрушения, или благонадеяния и упования; так же, когда на молитве читать станете, не отходите от чтения, не доведши до чувства вычитанной истины. Сии два чувства, подогревая себя взаимно, могут, если будете внимать себе, и весь день продержаться под своим влиянием. Потрудитесь в точности исполнить сии два приема и сами увидите, что будет.

+

Пришедшая благодать Божия — сначала чрез возбуждение, а потом чрез весь период обращения — рассекает человека, вводит его в сознание сей двойственности, в видение неестественного и того, что должно быть естественно, и доводит до решимости отрезать или очистить все неестественное,

чтоб явилось в полном свете естество Богоподобное. Но очевидно, что такая решимость есть только начало дела. В ней человек только еще сознанием и произволением вышел из области прошлой, качествующей в нем неестественности, отказался от нее и приложился к естественности ожидаемой и желаемой; но на самом деле во всем своем составе остается еще таким, каким был, то есть пропитанным грехом, и в душе по всем силам, и в теле по всем отправлениям качествует страстность, как и прежде, с тем только различием, что прежде все это желалось, избиралось и действовалось от лица человека, с желанием и услаждением, теперь же оно не желается, не избирается, а ненавидится, попирается, гонится /.../.

Таким образом истинная благодатная жизнь в человеке вначале есть только семя, искра: но семя — всеянное среди терния, искра — отовсюду закрываемая пеплом... Это свеча еще слабая, светящая в самом густом тумане. Сознанием и произволением человек прилепился к Богу и Бог воспринял его, соединился с ним в сей самосознающей и производящей силе или уме и духе, как говорится об этом у св. Антония и Макария Великого. И доброго, спасенного, богоугодного в человеке только и есть. Все другие части находятся еще в плену и не хотят и не могут еще покорствоваться требованиям новой жизни: ум не умеет мыслить по-новому, а мыслит по-старому; воля не умеет хотеть по-новому, а хочет по-старому; сердце не умеет чувствовать по-новому, а чувствует по-старому. То же в теле и во всех его отправлениях. Следовательно, он весь еще нечист, кроме единой точки, которую составляет сознающая и свободная сила — ум или

дух. Бог чистейший и соединяется с сею единою частию, все же другие части как нечистые остаются вне Его, чужды Его, хотя Он готов преисполнить всего человека, но не делает сего потому, что человек нечист... Затем, коль скоро он очистится, Бог тотчас являет полное Свое вселение.

+

Итак, что Господь, пришедши в союз с духом человека, не вдруг вполне преисполняет или вселяется в него: это зависит не от Него, готового все преисполнить, а от нас, а именно от страстей, растворившихся с силами нашей природы, еще не отторженных от них и не замененных противоположными добродетелями... Но действуя со всем рвением против страстей, очи ума между тем нужно иметь обращенными к Богу — в этом состоит исходное начало, которого должно держаться в построении всякого норияка богоугодной жизни, которым должно измерять прямоту и кривость изобретаемых правил и предпринимаемых подвигов. В этом должно убедиться как можно полнее, потому что все, кажется, заблуждения деятельные происходят от незнания сего начала. Не разумея всей силы сего, иные останавливаются на одной внешности упражнения и подвижания, другие — на одних делах добрых и навике в них, не простираясь выше, а третьи — идут прямо в созерцание. Все сие нужно, но всему своя черед. Сначала все — в семени, потом развивается не исключительно, но преимущественно в той или другой части, однако ж неизбежна постепенность — восход от внешних подвигов к внутренним, а от тех и других — к созерцанию, а не наоборот.

+

Существенное настроение покаянника: „Имиже веси судьбами спаси мя, Господи, а я буду трудиться и нелицемерно, без уклонений, перетолков, по чистой совести творить все, что уразумею и смогу!” Кто так настроит себя внутри, того действительно воспримет Господь и действует в нем как царь. У него учитель — Бог, молитвенник — Бог, хотель и деятель — Бог, плодоносец — Бог, властитель — Бог. Это — семя и сердце небесного, в нем древо жизни.

+

Припомните теперь притчу Господню о квасе, скрытом в трех сатях муки. Квас не вдруг делается заметным, но несколько времени остается скрытым, потом уже являет заметные действия и, наконец, проникает все тесто. Так и царствие в нас сначала сокровенно держится, потом обнаруживается, наконец, раскрывается или является в силе. Обнаруживается оно показанными невольными влечениями внутрь пред Бога. Тут душа не самовластна, а подлежит стороннему воздействию. Кто-то берет ее и вводит внутрь. Это Бог, благодать Духа Святого, Господь и Спаситель: как ни скажи, сила слова одна. Бог показывает этим, что принимает душу и хочет властвовать ею, и вместе приучает ее к своему властвованию, показывая — каково оно. Пока эти влечения не покажутся — а они показываются не вдруг, — человек, по видимому, действует более сам, при скрытой помощи благодатной. Он напрягается вниманием и благонамерениями быть в себе, Бога помнить, отгонять пустомыслие, трудиться до утомления,

но успеть в этом ему никак не удастся: и мысли его расхищаются, и страстные движения одолевают его, и в делах оказываются нестроения и ошибки: все это оттого, что Бог еще не являет своего властвования над душою. А как только покажется это — а показывается оно при сказанных влечениях — тотчас все внутри приходит в строй — знак, что Царь тут.

+

„Что же будет, — спросишь ты, — если Христос в нас?“ „Плоть убо мертва греха ради, дух же живет правды ради“. Видишь, сколько зол не иметь в себе Духа Святого: смерть, вражда на Бога, невозможность угодить Ему, покоряясь Его законам, быть Христовым и иметь Его в себе обитающим!

Смотри также, и сколько благ иметь в себе Духа: действительно быть Христовым, иметь в себе самого Христа, состязаться с ангелами! Ибо возыметь плоть мертвою для греха значить начать жить вечною жизнью, еще здесь на земле носить в себе залог воскресения и удобность идти стезею добродетели. Апостол сказал не просто „плоть мертва“, но присовокупил „греха ради“, для греха, дабы разумел ты, что умервщляется порок, а не естество тела. Не о сем говорит апостол, напротив, хочет, чтобы тело было мертво, оставаясь живым. Когда тела наши для плотских воздействий ничем не разнятся от лежащих в могиле, — это и есть признак, что имеем в себе Сына, что в нас пребывает Дух” (св. Иоанн Златоуст).

Как пред светом не может устоять тьма, так пред Христом Господом и Духом Его — плотское, страстное, греховное. Но как бытие солнца не

обнимает бытие тьмы, так и присутствие в нас Сына и Духа не отнимает бытия в нас чего-либо греховного и страстного, а только отнимает силу его. Страстное и греховное, как только случай, тотчас выступает и предлагает себя сознанию и произволению. Если сознание обратит на то внимание и займется тем, то туда же может уклониться и произволение. Но если сознание и произволение в этот момент перейдут на сторону духа и обратятся к Христу Господу и Духу Его, то все плотское и страстное тотчас исчезает, как дым от дуновения ветерка. Это и значит — плоть мертва, бессильна. Таков всеобщий закон жизни истинных христиан. Но есть степени. Когда кто несходно пребывает сознанием и произволением на стороне духа в живом осязаемом общении с Христом Господом и Духом Его, то в ту пору плотское и страстное и показаться не может, как пред солнцем тьма и пред пламенем холод. Тут плоть совсем мертва — недвижна. Эту степень и понимает в настоящем месте св. Павел. Св. Макарий Египетский нередко живописует сию степень. А общий порядок духовной жизни лучше всех описан у преп. Исихия. Сущность его наставлений в следующем: когда восстает плоть и страсть, отворотись от них невниманием, презрением, неприязнию и обратись молитвенно к Христу Господу, в тебе сущему, — и плотское и страстное тотчас отойдет.

+

Дух премудрости и откровения и сердце очищенное — разны: тот свыше от Бога, это — от нас. Но в акте образования христианского видения они нераздельно сочетаются и только совместно дают

в'идение. Сердце как ни очищай (если можешь без благодати) не даст мудрости, а дух премудрости — не придет, если не уготовано ему в жилище чистое сердце. Сердце здесь не в обычном смысле, а в смысле внутреннего человека. Есть в нас внутренний человек, по апостолу Петру. Это богоподобный дух, вдунутый в первозданного. Он несокрушимым пребывает и по падении. Отправления его суть *страх Божий*, в основе коего лежит уверенность в бытии Бога с сознанием полной от Него зависимости, *совесть и не довольство* ничем творимым.

+

Назначение духа, как дают разуметь отправления его, есть держать человека в соотношении с Богом и Божественным порядком вещей, помимо всего окружающего его и текущего окрест его. Чтоб исполнить как должно такое назначение, ему, естественно, должно принадлежать в'идение Бога и того божественного порядка, и того лучшего бытия, чутье которого свидетельствуется недовольством всем тварным. Оно, надобно полагать, и было в первозданном до падения. Дух его ясно зрел Бога и все Божеское, так ясно, как ясно видит кто здоровыми очами вещь перед собою. Но с падением очи духа закрылись и он уже не видит, что видеть было ему естественно. Сам дух остался и очи в нем есть — но закрыты. Он в таком положении, в каком тот, у которого бы веки срослись. Глаз цел, жаждет света, ищет, как бы увидеть его, чуя, что он есть, но сросшиеся веки мешают ему открыту быть и прямо войти в общение со светом. Что дух в таком положении в падшем, это до осязательности

очевидно. Зрение духа человек хотел заменить умозрением, отвлеченнейшими построениями ума, идеальничанием, но из этого ничего никогда не выходило. Свидетельство тому — все философские метафизики.

+

Когда сознание и свобода на стороне духа, человек духовен, когда на стороне души — он душевен, когда на стороне плоти — он плотян.

+

„Духа не угашайте...” Обычно живет человек в беспечности и нерадении о Богослужении и спасении. Зовущая ко спасению благодать пробуждает спящего грешника, и он, внявши сему зову, с чувством покаяния восходит до решимости посвятить прочую жизнь свою на дела богоугодные и тем создавать свое спасение. Это решение обнаруживается ревностью, которая становится мощною, когда сочетается с нею божественная благодать, посредством божественных таинств. С сей минуты христианин начинает духом гореть, то есть неослабно ревновать об исполнении всего, на что совесть указывает ему, как на волю Божию. Сие горение духа можно поддерживать и усиливать, можно и погасить. Возгревается он паче всего *делами любви* к Богу и ближним, составляющей существо сего духа, верностию вообще всем заповедям Божиим с покоем совести, безжалостными к себе подвигами душевно-телесными, молитвою и Богомыслием. Погашается отклонением внимания от Бога и дел Божиих, неумеренным озабочением себя делами житейскими, побряжками чувственным удовольст-

виям, плотоугодием и похоти, пристрастиями. Погаси сей дух, погаснет и жизнь христианская /.../.

Посему Павел говорит: „Духа не угашайте”, то есть дара, потому что так обыкновенно называет он дар Св. Духа. Погашает же его нечистая жизнь, ибо подобно тому, как, когда кто-либо нальет воды или землю на свет в светильник, или даже ничего такого не делая, когда только выльет из него масло, потухает свет, так потухает и дар благодати. Если ты привнес земное, если ты предался заботам о текущих делах, то ты уже погасил дух. Погасает пламень и тогда, когда недостает елєя, именно когда не творим милостыни, так как он сам пришел к тебе по милости Божией, то когда не находит в тебе сего плода, отлетает от тебя. Ибо он не пребывает в душе немилостивой.

Итак, не будем угашать его. Всякое злое дело погашает сей свет: и злоречие, и обиды, и все подобное. Как бывает с огнем, что все чуждое ему уничтожает его и все сродное с ним усиливается, так бывает и с этим светом.

Так обнаруживается общехристианский благодатный дух, за покаяние и веру нисходящий в душу каждого в таинстве крещения или возвращаемый в таинстве покаяния. Огнь ревности составляет существо его. Но направления он может принимать разные, смотря по лицам; у иного он весь обращается на самоисправление в строгих подвигах, у иного преимущественно на дела любви, у иного — на благоустройство христианского общества, у иного — на распространение евангельского учения проповедью, как например, в Аполлосе, который, горя духом, глаголаше и учаще известно яже о Господе (Деян. 18, 25).

+

Как понимать выражение: „сосредоточить ум в сердце“? Ум там, где внимание. Сосредоточить его в сердце — значит установить внимание в сердце и умно зреть пред собою присущего невидимого Бога, обращаясь к Нему со славословием, благодарением и прощением, назирая при этом, чтобы ничто стороннее не входило в сердце. Тут вся тайна духовной жизни.

Главнейший же подвиг есть хранение сердца от страстных движений и ума от таких же помыслов. Надо в сердце смотреть и все неправое оттуда гнать. Делая все прописанное, вы будете почти что монахиня, а то и совсем монахиня, — можно и вне монастыря быть монахиною, живя по-монашески, и в монастыре можно быть мирянкою.

+

Глава дела — чтобы внимание не отходило от Господа: это то же, что утверждение в сердце памяти Божией.

+

Ищите Господа? Ищите, но только в себе. Он недалече ни от кого. Близь Господь всем призывающим его искренно. Найдите место в сердце и там беседуйте с Господом. Это приемная зала Господня! Кто ни встречает Господа — там встречает Его. И иного места Он не назначил для свидания с душами.

+

Внутри пребывание и сердечное уединение вы держите... Дай, Господи, и всегда хранить его там. Тут главное дело. Когда сознание внутри в сердце,

а там и Господь, тогда они сочетаются и дело спасения идет успешно. Ни помыслам неправым нет хода тогда, ни тем паче чувствам и расположениям. Единое имя Господа разгоняет все чуждое и привлекает все сродное...

Чего вам больше всего опасаться должно? Самодовольства, самоцена, самомнения и всякого другого *само*...

Со страхом и трепетом свое спасение содевайте... Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно возгревайте и держите.

+

Что значит быть умом в сердце? Вот что значит! Знаете, где сердце? Как не знать? Чему же учились? Так станьте там вниманием и стойте неисходно — и будете умом в сердце; ум неотлучен от внимания: где оно, там и он. Вы писали, что часто при чтении акафиста сладчайшему Иисусу чувствуете в сердце огонь. Вот где это чувствование, там и будьте вниманием и не выходите вон не только во время молитвы, но и во всякое время другое. Но стоять там надобно не просто, а с сознанием, что стоите пред лицом Божиим или пред всевидящим оком Его, прозирающим в сокровенности сердечные; а чтоб стоять так, старайтесь иметь возгретым какое-либо чувство к Богу — страха, любви, упования, преданности, сокрушения болезненного и проч. Се — норма внутреннего строя. Блюдайте и как только заметите, что он нарушился в чем-либо, спешите восстановить его.

+

Так вы знаете настоящий *покой!!!* Слава Богу! Так что же, за чем дело? И надо теперь в ту сторону тянуть, в которой он дается. Надо искать потерянный рай, чтоб потом воспеть обретенный. Там — существо дела... Все вне и кроме него — пустошь... И недалеко все сие, вот-вот под руками... Восхотеть однако ж надо... и нелегко восхотеть. Помогите вам, Матерь Божия и ангел ваш хранитель!

+

Без дела не должно быть ни минуты. Но есть дела, телом видимо совершаемые, и есть дела мысленные, невидимые. И такие суть настоящие дела... Первое из них есть память Божия неотходная с умно-сердечною молитвою. Этого никто не видит, однако ж лица, так настроенные, находятся в непрестанном напряженном делании. Это же есть единое на потребу. Коль скоро оно есть, не заботясь о других делах.

+

Поелику первое Божие о человеке определение есть, чтоб он был в живом союзе с Богом, а союз сей выражается, когда кто умом и сердцем живет в Боге, то коль скоро кто стремится к такой жизни и тем паче делается причастным ее в какой-то мере, о том надо говорить, что он исполняет задачу жизни, для которой введен в течение бытия. Да сознает сие трудящийся в сем роде жизни и да не смущается, что не делает явно каких-либо дел, особенно важных. Это одно совмещает все дела.

В предыдущем состоянии была молитва (трудо-вая), но сердце почти постоянно было холодно и разве-разве когда подвигалось на теплую и усердную молитву. Теперь напротив, теплота молитвенная не отходит, а только кое-когда нападает охлаждение, которое скоро прогоняется терпеливым пребыванием в порядках и занятиях, возбуждающих чувство. Есть большая ревность и в отношениях сердца к суетным и страстным приражениям — кто от них свободен! — но в предыдущем состоянии они входили в сердце, совосхищая его и будто силою брали сочувствие; оттого хоть дел грешных не было и там, но сердце редко оставалось свободным от осквернения соуслаждением греховным. И теперь подходят те же приражения, но у входа в сердце неотходно стоит стража — внимание — и именем Господа Иисуса отражает своих врагов. И только когда-то враг воровски успеваеет заронить сласть такую, которая, впрочем, тотчас замечается, извергается и очищается покаянием до того, что и следа ее не остается... Таков обычный строй сердца, о котором идет речь...

До этого, в период искания, сидя около купели, проводишь года, восклицая: „человека не имам“; о, когда придет спасение Израилево, чтоб бросить нас в эту живительную купель! Каким образом Он, принятым нами в себя, дает нам томиться таким образом? Он внутри нас, но нас самих там нет. Итак, нужно нам туда вернуться. Довольно читать — нужно действовать; довольно глядеть, как ходят другие, — надобно ходить самому.

К этим прекрасным мыслям и внушениям нечего прибавить. Хочешь внутренней жизни — войди

внутри. Но как войти, — об этом уже было говорено раньше.

+

До зарождения внутренней жизни или появления осязательного действия благодати и богообщения, человек часто еще что-нибудь сам делает и напрягает к тому свои силы. Но измаявшись безуспешно в своих усилиях, он бросает, наконец, свою самодеятельность и вседушно предает себе вседействию благодати. Тогда посещает его Господь милостию Своею и возжигает в нем огонь внутренней духовной жизни. Что в этом великом перевороте его усилия ничего не значили, — это знает он по опыту. После более или менее частых отступлений благодать Божия впечатлевает в него также опытное знание, что и поддержание этого огня жизни не есть дело его собственных усилий. Затем частое нахождение благих мыслей и начинаний, частые осенения духа молитвенного, неведомо как и откуда находящего, тоже опытно дают ему убедиться, что и все доброе всегда присуще ему по милости Господа, спасающего всех спасаемых. Он предает себя Господу и Господь воздействует в нем. Опыт показывает, что тогда только и идет у него все успешно, когда он исполнен этим самопреданием. Он и не отступает от него и всячески блюдет.

Теоретиков много занимает вопрос об отношении благодати к свободе. Для носящего благодать вопрос этот решен самым делом. Носящий благодать предает себя вседействию благодати, и благодать в нем действует. Эта истина для него не только очевиднее всякой математической истины, но и всякого внешнего опыта, ибо он уже перестал

жить вовне и весь сосредоточен внутри. Забота у него теперь одна — быть всегда верным присущей в нем благодати. Неверность оскорбляет ее и она или отступает, или сокращает свое действие. Верность свою благодати или Господу человек свидетельствует тем, что ни в мыслях, ни в чувствах, ни в делах, ни в словах ничего не допускает такого, что сознает противным Господу и, напротив, никакого дела и начинания не пропускает, не исполнив его, коль скоро сознает, что на то есть воля Божия, судя по течению его обстоятельств и по указанию внутренних влечений и манований. Это иногда требует много труда, болезненных самопринуждения и самопротивлений, но ему радостно приносить все в жертву Господу, ибо после всякой такой жертвы он получает внутреннее воздаяние: мир, обрадование и особенное дерзновение в молитве.

Этими актами верности благодати и возгорается дар благодати, в связи с молитвою, уже неотходною в то время. Когда возгнетут огонь, нужно движение воздуха, чтоб раздуть его, точно так же, когда возгнетется огонь благодати в сердце, нужна молитва, которая есть своего рода движение воздуха духовного в сердце. Что такое эта молитва? Непрестанное обращение ума к Господу в сердце или непрестанное предстояние Господу умом в сердце, с воззваниями к Нему или без воззваний, с одними чувствами преданности и сокрушенным припаданием к Нему в сердце. В этом действии или скорее настроении главное средство к поддержанию внутренней теплоты и всего внутреннего порядка, к прогнанию худых и пустых мыслей, к утверждению мыслей и начинаний добрых. Приходят мысли и начинания добрые, он углубляется в молитву и,

смотря по тому укрепляются ли они в молитве или исчезают, он узнает, угодны они или неуютны Богу. Приходят мысли худые или начинает что-либо тревожить душу, он опять углубляется в молитву, не обращая внимания на происходящее в нем — и все исчезает. Таким образом, умная молитва ставится в нем главным двигателем и правителем духовной жизни. Не дивно потому, что все наставления в писаниях отеческих преимущественно направлены к тому, чтобы научить умно молиться Господу как следует.

+

В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии: благодать Божия несомненно содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором победения и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражается с ясностью.

Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно или, что то же, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою; при этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом.

+

Первое состояние молящегося можно уподобить обнаженным деревьям во время зимы, второе — тем же деревьям, покрывшимся листьями и цветами от

действия теплоты весенней... Душою и целию молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилении, Бог дарует в свое время покаяние благодатное, и Дух Святой, вселившись в человека, *ходатайствует* о нем *воздыханиями неизглаголан-ными*: Он ходатайствует о святых сообразно воле Божией, которую ведает один Он.

Из этого явствует со всею очевидностью, что для новоначального искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременное и преждевременное явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание — начинание гордое, безумное! Столько же не соответствует новоначальному употреблению механизмов, предложенных святыми отцами для преуспевших иноков, для безмолвников.

+

Но ты еще колеблешься сомнениями! Смотришь на меня и, видя пред собою толикого грешника, невольно вопрошаешь: „Неужели в этом грешнике, в котором действие страстей так явно и сильно, неужели в нем действует Дух Святой?“

Справедливый вопрос! И меня он приводит в недоумение, ужас! Увлекаюсь, согрешаю, прелюбодействую со грехом, изменяю Богу моему, продаю Его за мерзостную цену греха. И несмотря на мое постоянное предательство, на мое поведение изменническое, вероломное — Он пребывает неизменен. Незлобивый, Он ожидает терпеливо моего покаяния, всеми средствами привлекает меня к покаянию, к исправлению! Ты слышал, что говорит в

Евангелии Сын Божий? „*Не требуют здравии врача, но болящи. Не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние*”. Так говорил Спаситель, так и действовал. Возлежал Он с мытарями, грешниками, вводил их через обращение к вере и добродетели в духовное родство с Авраамом и прочими праведниками. Тебя удивляет, поражает бесконечная благодать Сына Божия? Знай, что столько же благ и Всесвятой Дух — столько же жаждет спасения человеческого, столько же кроток, незлобив, долготерпелив, многомилостив. Дух — один из трех равночестных лиц Всесвятыя Троицы, составляющих собою, неслитно и нераздельно, единое Божественное существо, имеющих единое естество.

И грех-то привлекает Св. Духа к человеку! Привлекает Его грех, не осуществляемый совершением, незримый в себе, признаваемый, оплакиваемый! Чем более человек вглядывается в грех свой, чем более вдается в плач о себе, тем он приятнее, доступнее для Духа Святого, который как врач приступает только к сознающим себя больными, напротив того, отворачивается от *богатыщихся* суетным своим самонимением. Гляди и вглядывайся в грех твой! Не своди с него взоров! Отвергнись себя, *не имей душу свою честну себе!* Весь вдайся в зрение греха твоего, в плач о нем! Тогда, в свое время, узришь воссоздание твое непостижимым, тем более необъяснимым действием Св. Духа. Он придет к тебе, когда ты не чаешь Его; воздействует в тебе, когда ты признаешь себя вполне недостойным Его.

Божественное действие — невещественно: не зрится, не слышится, не ожидается, невообразимо, необъяснимо никаким сравнением, заимствованием из сего века: приходит, действует таинственно. Сперва показывает человеку грех его, растит в очах человека грех его, непрестанно держит страшный грех пред его очами, приводит душу в самоосуждение, являет ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть гибели, в которую ниспал род наш согрешением нашего праотца; потом мало-помалу дарует сугубое внимание и сокрушение сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно, невещественно прикасается расчеченным частям — и они соединяются воедино. Кто прикоснулся? Не могу объяснить: я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным, внезапно ощутил себя таким от действия самовластного. Создатель подействовал при воссоздании, как действовал Он при создании. Скажи: слепленное из земли тело Адама, когда лежало еще неоживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ея? Когда внезапно оживилось душою, могло ли прежде размыслить, принять ли душу или отвергнуть ее? Созданный Адам внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим! С такою же внезапностью совершается и воссоздание. Создатель был и есть неограниченный Владыка — действует самовластно, вышеестественно, превыше всякой мысли, всякого постижения, бесконечно тонко, духовно, вполне невещественно.

От прикосновения руки Его ко всему существу моему ум, сердце и тело соединились между собою,

составили нечто целое, единое; потом погрузились в Бога — пребывают там, доколе их держит там невидимая, непостижимая, всемогущая рука...

+

Не только всякое греховное чувствование, всякий греховный помысл, но и все естественные помыслы и ощущения, как бы они ни были тонки и замаскированы мнимой праведностью, разрушают соединение ума с сердцем, поставляют их в противодействие друг другу. При уклонении с духовного направления, доставляемого Евангелием, тщетны все пособия и механизмы: сердце и ум никогда не соединяются между собой.

+

В естественном порядке или строе наших сил на переходе отвне внутрь стоит воображение. Надо благополучно миновать его, чтобы попасть на настоящее место внутри. По неосторожности можно застрять на нем и, оставаясь там, быть уверенными, что вошли внутрь, тогда как это только внешнее преддверие, *двор языков*. Да это бы еще ничего, но этому состоянию всегда почти сопутствует самопрельщение...

Известно, что вся забота ревнителей о духовной жизни обращена на то, чтобы поставить себя в должное отношение к Богу. Совершается это и обнаруживается в молитве. Она есть путь восхождения к Богу и ее степени суть степени приближения нашего духа к Богу. Самый простой закон для молитвы — ничего не воображать, а, собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близь, видит и внимает, и в этом убеждении припадать к Нему, страш-

ному в величии и близкому в благоснисхождении к нам... Образы держат внимание вовне, как бы они и священны ни были, а во время молитвы вниманию надо быть внутри, в сердце; сосредоточение внимания в сердце есть исходный пункт должной молитвы. И поелику молитва есть путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть уклонение от этого пути.

+

Первый неправый способ молитвы зависит от того, что иные действуют в ней преимущественно воображением и фантазией. Эти силы составляют первую инстанцию в движении отвне внутрь, которую следовало бы миновать, а вместо того останавливаются на ней. Вторую инстанцию на пути внутрь представляет рассудок, разум, ум, вообще рассуждающая и мыслящая сила. Следует и ее миновать и вместе с нею сойти в сердце. Когда же останавливаются на ней, то происходит второй неправый образ молитвы, отличительная черта которого то, что *ум, оставаясь в голове, сам собою* все хочет уладить и всем управлять, но из трудов его ничего не выходит. Он за всем гоняется, но ничего одолеть не может и только терпит поражения. Это состояние бедного ума очень полно изображено у /Симеона/ Нового Богослова.

Второй образ молитвы прилично назвать умно-головным в противоположность третьему — умно-сердечному или сердечно-умному.

А между тем как происходит это брожение в голове, изображенное во втором образе молитвы, сердце идет своим чередом, его никто не блюдет и на него набегают заботы и страстные движения.

Тогда и ум себя забывает и убегает к предметам забот и страстей; и разве уж когда-то опомнится...

Приложу к этому, то есть ко второму образу молитвы, несколько слов из предисловия к писаниям Григория Синаита, старца Василия схимонаха, сопостника и друга Паисия Немецкого. Выписав место из Симеона Нового Богослова, он прибавляет: „Как можно одним ограждением внешних чувств хранить ум нерасхищенным, когда помыслы его сами собою растекаются и парят над вещи чувственные? Если не можно, то нужда настает уму в час молитвы бежать внутрь сердца и стоять там глухим и немым для всех помыслов. Кто внешне удаляется только от зренья, слышания и глаголанья, тот мало получает пользы. Затвори ум свой во внутренней клети сердца, и тогда насладишься покоем от злых помыслов и вкусишь радости духовной, приносимой умной молитвою и вниманием сердечным”. Св. Исихий говорит: „Не может ум наш победить мечтание бесовское сам собою токмо, да не надеется когда-либо сего. Посему блюдишь, да не вознесешься по примеру древнего Израиля, и предан будешь и ты мысленным врагам. Тот, будучи избавлен Богом от египтян, помощником себе вздумал возыметь идола перстного. Под идолом перстным разумеи немощный наш разум, который пока молит Иисуса Христа против лукавых духов, удобно их отгоняет, а когда на себя бессмысленно понадеется, падает падением дивным и разбивается”.

+

При этом не забывай следующее мудрое наставление св. /Иоанна/ Лествичника. Он изображает путь восхождения нашего к Богу под видом лестницы о четырех ступенях. „Одни, — говорит он, — укрощают страсти, другие поют, то есть молятся устами своими, третьи упражняются в умной молитве, четвертые, наконец, восходят в видения. Хотящие восходить по сим четырем ступеням не могут начинать сверху, а должны начать снизу и, ступив на первую ступень, с нее уже восходят на другую, потом на третью и после всего уже на четвертую”. Этим путем всякий может взойти на небо, сначала надобно подвизаться в укрощении страстей и умалении их, потом упражняться в псалмопении, то есть навыкнуть молиться устно, далее молиться умно и, наконец, получить возможность восходить в видения. Первое есть дело новоначальных, второе — возрастающих в преуспейнии, третье — достигших до конца преуспейния, а четвертое — совершенных.

+

/.../ Первый прием к тому, чтобы привлечь ум в сердце, именно чрез сочувствие читаемым и слышимым молитвам, ибо чувства сердца обычно властвуют над умом... Если вы исполните, как должно, первый прием, то ваше молитвословие все будет идти с чувствами. Чувства сии будут изменяться соответственно содержанию молитв. Речь моя не об этих чувствах, а об таких из них, которые захватят все сознание и сердце и свяжут душу, не давая ей свободно продолжать чтение, а все отвлекая внимание ее на себя. Это особые чувства; и они, как только рождаются, порождают в душе и свои молитвы

по роду своему. Этих, порождающихся в сердце особых чувств и молитв никогда не надо пресекать дальнейшим чтением, а остановив чтение, давать им свободу излиться, пока совсем не изольются, и чувство станет ровно и скорее сведет ум в сердце. Но действовать он может только после первого приема или совместно с ним.

+

При молитве нужно, чтобы дух соединялся с умом и вместе с ним произносил молитву, причем ум действует словами, произносимыми одною мыслию или с участием голоса, а дух действует чувством умиления и плача. Соединение даруется в свое время Божественной благодатию, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем, как и вместо слова ум часто употребляется слово голова.

Молясь со вниманием, в сокрушении духа, помогай себе вышеисчисленными механизмами; при этом само собою откроется опытное познание места сердечного. О нем удовлетворительно объяснено в предисловиях схимонаха Василия.

+

Если сердце ваше согревается при чтении обычных молитв, то этим способом и возгревайте сердечную к Богу теплоту. Молитва Иисусова, если ее механически творить, ничего не дает, как и всякая другая молитва, языком только проговариваемая.

Попробуйте при молитве Иисусовой живее помыслить, что Господь сам близь есть и предстоит

душе вашей и внимает тому, что в ней происходит. В душе же при себе пробудите жажду спасения и уверенность, что кроме Господа неоткуда ждать нам спасения. Затем и вопите к Нему, мысленно перед собою зримого: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!” или „Милостивый Господи спаси меня имиже веси судьбами”. Дело совсем не в словах, а в чувствах к Господу.

Духовное горение сердца к Господу есть любовь к Нему. Она и загорается от прикосновения Господа к сердцу. Как Он весь есть любовь, то прикосновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь к Нему. Вот это и должно быть предметом исканий.

На языке пусть будет молитва Иисусова, а в уме — предзрение Господа пред собою, в сердце — жажда Бога, или общение с Господом. Когда все сие будет постоянно, тогда Господь, видя, как нудите себя, подаст просимое.

+

Сверх того, мы должны знать, что непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но и самое действие их. Как врач изыскивает врачевание или пластырь на рану страждущего, и они действуют, причем больной и не знает, как сие делается: так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как сие совершается.

+

Страсти — те же скорби, и Господь не отделил их, но сказал: „Призови мя в день скорби твоея и измутья и прославиши мя”. И потому, в отношении вся-

кой страсти ничего нет полезнее, как призывать имя Божие. Нам же немощным остается только прибегать к имени Иисусову, ибо страсти, как сказано, суть демоны — и уходят (от призывания сего Имени).

+

Таким образом, вслед за возбуждением благодати, первое предлежит свободе человека — движение в себя, которое она совершает тремя актами:

1) склоняется на сторону добра — избирает его:

2) устраняет препятствия, разрывает узы, держащие человека в грехе, изгоняя из сердца саможаление, человекоугодие, склонность к чувственному и земность, а на место их, возбуждая безжалостность к себе, безвкусию к чувственному, предание себя позору всякому и переселение сердцем в будущий век с чувством странничества здесь;

3) наконец, воодушевляется сейчас же вступить на добрый путь, нисколько не послабляя себе, а содержа себя в постоянном некотором напряжении.

Таким образом, все стихает в душе. Возбужденный, освободившись от всех уз, с полною готовностью говорит себе: восстав, иду!

С этой минуты начинается другое движение души — к Богу. Одолев себя, овладев всеми исходами своих движений, возвратив себе свободу, он должен теперь всего себя принести в жертву Богу. Значит, дело сделано еще только на половину.

+

„Ниже́ дадите места диаволу”.

Диавол не имеет доступа к душе, когда она не питает никакой страсти. Тогда она светла, и диавол

не может воззреть на нее. Когда же она попустит движение страсти и согласится на нее, тогда омрачается, и диавол видит ее. Смело подходит к ней и начинает в ней хозяйничать. Два главных порочных движения тревожат обычно душу — похоть и раздражительность. Кого успеет враг одолеть похотью, того и оставляет с нею, не тревожа или слабо тревожа гневом; а кто не поддается похоти, того спешит подвигать на гнев и собирает вокруг него много раздражающего. Кто не разбирает уловок диавола и за все сердает, тот дает место диаволу, давая себя побеждать гневу. А кто подавляет всякое возбуждение гнева, тот противится диаволу и отгоняет его, а не только места в себе не дает. При гневности дается место диаволу тотчас, как сердчанье признается справедливым и удовлетворение его законным. В тот же момент враг входит в душу и начинает влагать в нее мысли за мыслями — одна другой раздражительнее. Человек начинает гореть во гневе, как в пламени. Это диавольский, адский пламень. А бедный человек думает, что он так горит от ревности по правде, тогда как в гневе никогда не бывает правды (Иак. 1, 20). Это своего рода прелесть в гневе, как есть прелесть в похоти. Кто подавляет тотчас гнев, тот рассеивает сию прелесть и диавола тем отражает так же, как иной в сердцах сильно ударяет кого в грудь. Кто из гневающихся, по погашении гнева, разобрав дело добросовестно, не находил, что в основе раздражения была неправда?! А враг эту неправду превращает в правду и в такую гору ее взгромождает, что покажется, будто миру стоять нельзя, если не удовлетворить нашему негодованию.

Ты не можешь не злопамятствовать, не враждо-

вать? Будь врагом, но враждуй против дьявола, а не против своего собрата. Для того и дал нам Бог в орудие гнев, чтобы мы не собственные тела поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь дьявола. Вверзи туда свой меч по самую рукоятку, если хочешь, вдавя и рукоять, и не извлекай его никогда оттоле, напротив, вонзи туда еще и другой меч. И это произойдет тогда, когда мы будем щадить друг друга, когда будем миролюбиво расположены друг к другу. Пусть я лишусь денег, пусть я погублю свою славу и честь, — мой чин (состояние) всего для меня дороже.

+

Когда нападают недобрые помыслы, надобно отворачивать от них око ума и, обращаясь к Господу, именем Его гнать их. Но когда помысл пошевелит сердце и оно лукавое мало-помалу усладится им, тогда надобно бранить себя и умолять Господа о помиловании, и бить себя до тех пор, пока в сердце родится противоположное чувство: например, вместо осуждения возвеличение другого или, по крайней мере, сердечное чувство почтения к нему.

Вот и надобно загодя приготовить в сердце покойное местечко у ног Господа. Случится тревога... сейчас туда и кричать и кричать, как бы отчитывать черную немочь, и Господь поможет: все стихнет.

+

Демоны никак не могут овладеть чьим-либо духом или телом, не имеют власти ворваться в чью-либо душу, если сначала не лишат ее всех святых помышлений и не сделают пустою и лишенною духовного содержания.

+

Свойственно умной молитве открывать страсти, скрывающиеся и тайно живущие в сердце человеческого! Она открывает их и укрощает.

Свойственно умной молитве открывать тот плен, в котором мы находимся у падших духов. Она открывает этот плен и освобождает от него.

Следовательно, не должно смущаться и недоумевать, когда восстают страсти из падшего естества или когда они возбуждаются духами.

А как страсти укрощаются молитвою, то и должно, когда они восстанут, творить умом неспешно и очень тихо молитву Иисусову, которая мало-помалу уймет восставшие страсти. Иногда восстание страстей и нашествие вражеских помыслов бывает так сильно, что возводит в великий душевный подвиг. Это время невидимого мученичества. Надо исповедать Господа пред лицом страстей и бесов молитвою продолжительною, которая непременно доставит победу.

+

„Говорить ли, спрашиваете, с другими о духовной жизни?“ — Говорите; только о своей не рассказывайте, и вообще рассуждайте, применяясь, однако ж, к состоянию спрашивающих. Бывает, что иные заводят о сем речь, чтоб только поговорить. И это лучше, чем говорить о чем-нибудь житейском или пустом. Молчание, как вам желательно, можно держать, когда вы не вдвоем с кем, или не с вами ведется речь. Что, идя к кому-либо по нужде, молитесь Господа положить хранение устам, — добре делаете. Лучше всего всегда с Господом быть. Но можно и говорить и с Господом быть. Навыкайте всему.

Когда ведете речь, больше всего опасайтесь рас- тревожить покой другого каким-либо задором или высказыванием своих мыслей наперекор ему, с явным желанием поставить на своем. Враг на это наводит, чтоб завязать спор, а от спора довести до разлада. Не меньше этого опасайтесь говорить о ду- ховном, чтоб выказать свою в этом отношении муд- рость. И это вражье внушение, за последование ко- торому непременно подвергнетесь посмеиху от людей и Божию неблаговолению.

+

С теми, кто вступил в служение Богу, начинаются искушения особенные. „Отдай долг страстям”, — сказал св. Исаак Сирский, — борьбою с ними”. На поприще борьбы бывают победы и поражения. Поражения должно врачевать покаянием. Оно вра- чует их со всею удовлетворительностью.

+

Настоящее самопознание есть ясновидение своих недостатков и немощей в такой мере, что ими пере- полнено все. И поставьте такую заметку, что чем более вы видите себя неисправною и достойною всякого укора, тем более вы двигаетесь вперед.

+

Надо знать, что восход к совершенству невидим для ревнующего: трудится в поте лица, но будто без плода, — благодать строит дело свое под прикры- тием. Видение человеческое, глаз, съедает доброе. Человеку самому остается на долю одно — видение своего непотребства. Путь к совершенству есть путь к сознанию, что я слеп и нищ и наг, в непрерывной

связи с которым стоит сокрушение духа, или болезнь и печаль о нечистоте своей, изливаемая перед Богом, или, что то же, — непрестанное покаяние. Покаянные чувства суть отличительные признаки истинного подвижничества. Кто уклоняется от них и избегает, тот уклоняется от пути. В положении начала новой жизни было покаяние; оно же и в возрастании должно быть и зреть вместе с ним. Зреющий сознает в познании своей порчи и греховности и углубляется в сокрушенные чувства покаяния. Слезы — мера преуспевания, непрестанные слезы — признак скорого очищения.

+

Положите законом:

1) Всякую минуту ждать неприятность и, когда придет, встречать ее какжданную гостью.

2) Когда дается что-то воле противное, готовое огорчить и раздражить, скорее бегите вниманием к сердцу и сколько можете напрягайтесь не допускать возродиться тем чувствам, напрягайтесь и молитесь, Если же допустите породиться тем чувствам, всему конец: ибо все от чувств; если же породится хоть маленькое, положите, если можно, ничего не говорить и не делать, пока не выгнали те чувства, если же нельзя не говорить и не делать, старайтесь говорить и делать не по тем чувствам, а по заповеди, как Бог велит, кротко и тихо — будто ничего не было.

3) Всякое ожидание прекращения такого порядка выбросьте из головы, а определите себя на неприятности до конца жизни. Не забудьте! Это очень важно. Если не будет этого, терпение установиться не может.

4) Ко всем молитвам сим положите: держать лю-

бовный взор, любовный тон речи, любовное обращение и, главное, всевозможно избегайте чем-либо напомнить им о их несправедливостях. Действуйте так, как бы ничего от них не было. Навыкайте память Божию хранить неотходно.

+

Есть два пути к тому, чтоб стать едино с Господом: деятельный и созерцательный. Первый для христиан житейских, второй — для оставивших все житейское. В действии ни первый не бывает без второго, ни второй без первого. И житейские должны в своей мере держать и созерцательный путь. Я писал вам: навыкайте памятовать всегда о Господе и ходить пред лицом Его. Это созерцательная часть и есть.

Спрашивается, как же Господа при делах иметь во внимании? Так: какое бы дело, большое или малое, вы ни делали, держите в уме, что его вам повелевает делать сам Господь Вездесущий и смотрит, как вы его делаете. Так себя держа, вы всякое дело будете делать со вниманием и Господа будете помнить. В этом весь секрет успешного для главной цели действия в вашем положении. Извольте в это вникнуть и так наладиться. Когда так наладитесь, тогда и мысли перестанут блуждать туда и сюда.

У вас отчего теперь все не ладится? Думаю, от того, что вы хотите помнить Господа, забывая о делах житейских. Но дела житейские лезут в сознание, и память о Господе вытесняют. А вам следует наоборот; о житейских делах хлопотать, но как о Господнем поручении и как пред Господом. Там у вас ни того, ни другого не выходит, а здесь то и другое будет исправно.

+

Вам говорят: „Более заслуги подвизаться в молве житейской, чем спасаться в уединении”. И вы не отрицайте этого. Те, которые истинно подвизаются, не имеют в виду заслуги, а о том лишь заботятся, чтоб очистить себя от страстей и страстных чувств и помыслов.

Для этой цели жизнь в общении с другими пригожей, потому что она представляет действительные опыты борения со страстями и преодоления их. Эти победы бьют страсти в грудь и голову, а повторение их скоро убивает страсти наповал. В уединении же борьба бывает только мысленная, которая бывает так же слабодейственна, как удар крыла мухи. Оттого умерщвление страстей в уединении дольше тянется. И мало того, оно бывает всегда почти не умерщвлением собственно, а замиранием на время, до случая встречи предмета страстей. Причем бывает, что страсть вдруг воспламеняется, как молния. И бывает, что иной, долгое время имевший уединение и покой от страстей, вдруг падает. А того, кто дошел до покоя от страстей чрез борьбу не мысленную, а действительную, нечаянно нападение их не поколеблет. — Вот на каком основании мужи, опытные в духовной жизни, заповедуют преодолеть страсти действительным с ними борением в общении с другими, а после этого уже уединяться.

+

Руки и ноги за делом, а мысль с Богом — се настоящий стоящий человек.

Внутреннее надо налаживать с утра — как глаза

откроются. Хранить его весь день, вечером подогреть, и так заснуть.

Сократить внешние отношения и все наладить на один чин — есть спасительная рамка жизни.

Когда придет внутренняя молитва, тогда она может заменить отчасти пребывание в храме, но внутренней молитвы ничто так не разогревает, как храм.

+

Внимание свое меньше всего останавливайте на внешних подвигах. Хоть они необходимы, но они суть подмости. Здание строится посреде их, но они не здание. Здание в сердце. На сердечные делания и обращайтесь все внимание свое.

Первый искусительный помысл, который начнет бить вас, будет самодовольство; за ним придет внутреннее самовозношение, или трубление пред собою; а далее — кичение пред другими. Уразумейте пути сии. Читайте Макария Великого, и особенно Лествицу, где много сказано о различении помыслов. Одно и то же дело бывает и приятно и неприятно Богу, судя по помыслам. Учитесь.

+

Поднимайте труды — „не всегда по влечению, а больше по принуждению”. Таков уж закон — противиться себе в худом и нудить себя на доброе. Сие и означают слова Господа, что царствие Божие нудится и нуждницы восхищают его. От этого и следование за Господом есть иго. Когда бы все делалось по влечению, какое было бы в сем иго? — В конце, впрочем, приходит, что все делается охотно и легко.

„Нападает тупое бесчувствие, — бываешь, как автомат, — ни мысли, ни чувства”.

Такие состояния бывают, иногда как наказание за поползновение на что-либо недоброе мыслию и чувствием, а иногда как обучение, — преимущественно как научение смирению, чтобы человек навык ничего не ожидать от своих сил, а все от одного Бога. Несколько таких опытов подсекают доверие к себе, избавление же от тяготы указывает, откуда помощь и на Кого надо во всем полагаться. Состояние это тяжелое, но надо переносить его с мыслию, что лучшего не стоим, что оно заслужено. Средств против него нет, миновать его в воле Божией. Надо, однако ж, стоять и вопиять к Господу: буди воля Твоя! Помилуй! Облегчи! Но никак не поддаваться каким-либо послаблениям, ибо это разорительно и пагубно. У св. отцов такие состояния называются охлаждением, сухостью; и все считают их неизбежными в жизни по Богу, ибо без них скоро зазнаемся.

+

Надо при сухостях осмотреться, не было бы чего такого в душе, и покаяться пред Господом, и положить вперед остерегаться.

Больше всего достается это за гнев, неправду, досаждение, осуждение, возгоржение и подобное. Врачество — возвращение опять благодатного состояния. Как благодать в воле Божией, то нам остается молиться об избавлении от сей самой сухости и от окамененного нечувствия.



Дали вы себе льготу, позволив себе немного развлечься, а не поостереглись: ни глаз, ни языка, ни мыслей не берегли. Оттого теплота ушла, и вы остались пусты. — Это никуда не гоже. Поспешите же восстановить внутренний строй, достодолжный, или вымолить его: запритесь, — и все только молитесь и читайте о молитве, пока внимание не соединится с Богом в сердце и там не водворится дух сокрушения и умиления, которым собственно и надо определять, в своем ли вы чине или выступили из него. Вы, кажется, о внимании судите, как об излишней строгости, а оно напротив есть корень внутренней духовной жизни. Почему враг больше всего против него и вооружается и всеусильно ставит пред очами души обольстительные призраки, и влагает помыслы о льготах и развлечениях.



„Разсеялись!” Это первое враждебное для внутреннего строя вражье нападение. Позаботьтесь так входить в сношение с другими и о делах хлопотать, чтоб вместе с тем и о Господе помнить и все делать и говорить с сознанием, что Господь близь и все направлять на угождение Ему. Для этого, когда встречается что, пред тем заготовиться в продолжении дела не отходить от Господа, а быть в присутствии Его и помолиться Ему о сем. Этому можно навыкнуть, только положите отселе всегда уже действовать так. Второй враг внутри пребывания есть приложение к чему-либо сердца и пленение чем-либо при впечатлении чувств или при мыслях о чем. Этот злей. У вас этого не было и вы скоро возвратились на старое. Если же бы сердце ваше прилегло к

чему, то долго бы пришлось помаяться. Тогда надо было бы прежде отторгнуть сердце от того, к чему оно приложилось, и отвращение возыметь к тому. Извольте сие иметь в виду и всячески беречься и рассеянности, и, паче, пленения сердца. Средство одно — не отступать вниманием от Господа и от сознания присутствия Его. Отчего грустно после с кем-либо долгого разговора? Оттого, что во время разговора вы отходите вниманием от Господа. Господу это неприятно, и Он дает вам о сем знать грустью. Извольте навикать неотходно быть с Господом, что бы ни делали, и все делать для Него, стараясь соображать то с заповедями Его. И никогда не будете грустны, ибо будете сознавать, что делали Его дела.

+

Хранится ли прежнее ваше теплое состояние? Хранить надо. Ему основа — смирение. Как только умалится смирение, так и холодность пойдет. Ибо когда душа начинает считать себя чем-либо, тотчас Господь отступает, и она, оставшись одна, сама с собою, хладеет. Не языком говорить: „я ничто“, а в сердце чувствовать свое ничтожество надо. И тут всегда будет Господь, из ничего все сотворивший и творящий. Теплоту Господь подаст, но и самим надо труд приложить.

Труд сей есть, как сейчас сказано, смирение да внимание, и внутри сердца болезненное к Богу припадание, — неотступное, при всяком деле и слове, при движении и сидении, дома и в церкви. Да умудрит вас Господь! Читайте святые книги и, все полезное размышлением усвоив себе, прилагайте к своей жизни и к своей душе.

+

Надо однако ж различать осуждение от осуждения. Грех начинается, когда в сердце порождается презорство к кому, ради какой-нибудь худобы. Осудить можно просто без всякого приговора судимому. Если же при этом в сердце сожаление будет о лице оплошавшем, желание ему исправления и молитва о том, то тут не будет греха осуждения, а совершится дело любви, возможное при такой встрече. Грех осуждения больше в сердце, чем на языке. Речь об одном и том же может быть и грехом и не грехом, судя по чувству, с коим произносится. Чувство дает и тон речи. Но лучше всячески воздерживаться от осуждений, чтоб не попасть в осуждение, то есть не ходить около огня и сажи, чтоб не ожечься и не очерниться. Скорее переходить надо на осуждение и укорение себя.

+

Пишете, что иногда во время молитвы сами собою не зная откуда приходят решения занимающих душу вопросов жизни духовной. Се добре! Я, кажется, вам об этом уже писал. Это есть настоящее христианское научение истине Божией. Тут исполняется обетование: будут все научены Богом. Так это и бывает. Перстом Божиим пишутся истины в сердце, — и остаются уже неизгладимыми и никакому колебанию не подлежат. Не извольте оставлять без внимания таких начертаний истины Божией, а записывайте их.

+

Дух Святой дает истинное смирение. Человек и самый разумный, если не имеет в себе Духа Святого, не может надлежащим образом знать себя, ибо

без помощи Божией он не может видеть своего внутреннего состояния души. Но Дух Святой, вселившись в сердце человека, показывает ему всю внутреннюю его бедность и слабость, и растрепанность души и сердца его, и удаление от Бога; и при всех его добродетелях и правде показывает ему все грехи его, леность и нерадение о спасении и благе людей, его своекорыстие в самых, по-видимому, бескорыстных его добродетелях, грубое самолюбие — там, где он и не подозревал его. Кратко сказать, Дух Святой показывает все в настоящем виде, и тогда человек начинает терять надежды на собственные свои силы и добродетели, считает себя худшим из людей. Дух Святой научает истинной молитве. Никто, пока не получит Духа Святого, не может молиться такою молитвою, которая истинно приятна Богу. Потому что, ежели кто, не имея в себе Духа Святого, начнет молиться, то душа его рассеивается в разные стороны, от одной вещи к другой, и он никак не может удержать свои мысли на одном, и притом, он не знает должным образом ни самого себя, ни своих нужд, ни того, как просить и чего просить от Бога, — и не знает, кто такой Бог. Но человек, в котором обитает Дух Святой, и ищет Бога, и видит, что Он есть Отец его, знает, как приступить к Нему, и как просить, и чего просить от Него. Мысли его в молитве стройны, чисты и устремлены к одному предмету — Богу; и молитвою своею он точно может сделать все.

+

Если смиренномудрие и любовь, простота и благость не будут в нас тесно соединены с молитвою, то самая молитва, лучше же сказать, — эта личина мо-

литвы, весьма мало может принести нам пользы. И сие утверждаем не об одной молитве, но и о всяком подвиге и труде, девстве или посте, или бдении, или псалмопении, или служении, или о каком бы то ни было делании, совершаемом ради добродетели. Если не увидим в себе плодов любви, мира, радости, кротости, присовокуплю еще — смиренномудрия, простоты, искренности, веры и, сколько должно, великодушия, дружелюбия, — то трудились мы без пользы, потому что для того и предприедем труды, чтобы воспользоваться плодами, а когда не оказывается в нас плодов любви, тогда, без сомнения, делание напрасно. Почему таковые ничем не отличаются от пяти юродивых, которые за то, что здесь еще не имели в сердце духовного елеса, то есть духовной действительности исчисленных выше добродетелей, наименованы юродивыми, и жалким образом оставлены вне царского брачного чертога, ничем не воспользовавшись от подвига девства. Как при возделывании виноградника все попечение и весь труд прилагаются в надежде плодов: если плода не бывает, напрасным оказывается делание, так, если не увидим в себе, по действию Духа, плодов любви, мира, радости, всего прочего, перечисленного апостолом (Галат. 5, 22), и не возможем признать их в себе со всею несомненностью и по духовному чувству, то излишним окажется подвиг девства, молитвы, псалмопения, поста и бдения. Ибо труды сии и подвиги душевные и телесные должны совершаться, как сказали мы, в надежде духовных плодов; в плодоношении добродетелей есть духовное наслаждение нерастленным удовольствием, неизреченно производимое Духом Святым в сердцах верных и смиренных. Почему труды и подвиги

должны быть почитаемы, каковы они и действительно, трудами и подвигами, а плоды — плодами. Но если кто, по скудости ведения, делание свое и подвиг почтет плодами Духа, то оказывается, что он явно обольщается, сам себя обманывая, таким своим мнением лишая себя великих подлинно плодов Духа.

+

Для преспеяния в молитве и для избежания прелести необходимо самоотвержение, научающее искать в молитве одного внимания. Тогда подвиг молитвенный упростится и облегчится; облегчатся и искушения, которые, однако, всегда сопутствуют подвигу. Если же кто преждевременно стремится к раскрытию в себе действий сердечной молитвы, — „тому, — говорит преп. Нил Сорский, — согласно с прочими св. отцами, — попускаются тяжкие, превыше сил, искушения от бесов”. Такому стремлению служат основанием непонимаемые превозношение и высокоумие, представляющееся усердием.

+

Читатель найдет в Добротолюбии, в слове Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы, в слове Никифора монашествующего и в сочинении Ксанфопулов наставление о художественном введении ума в сердце при пособии естественного дыхания, иначе, — механизм, способствующий достижению умной молитвы. Это учение отцов затрудняло и затрудняет многих читателей, между тем как тут нет ничего затруднительного. Советуем возлюбленным братьям не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собою. И мно-

гие, захотевшие узнать его опытом, повредили свои легкие и ничего не достигли. Сущность дела состоит в том, чтоб ум соединился с сердцем при молитве, а это совершает Божия благодать в свое время, определяемое Богом. Упомянутый механизм вполне заменяется неспешным произношением молитвы, кратким отдыхом после каждой молитвы, тихим и неспешным дыханием, заключением ума в слова молитвы. При посредстве этих пособий мы удобно можем достигнуть внимания в известной степени. Вниманию ума при молитве начинает весьма скоро сочувствовать сердце. Сочувствие сердца уму мало по малу начнет переходить в соединение ума с сердцем, и механизм, предложенный отцами, явится сам собою. Все механические средства, имеющие вещественный характер, предложены отцами единственно как пособия удобнейшему и скорейшему достижению внимания при молитве, а не как что-нибудь существенное. Существенная, необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания нет молитвы. Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира. Пособия всегда остаются только пособиями. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца.

ПРОПОВЕДИ

Великий Четверг

Мы готовимся приступить к Тайной Вечери Господа нашего Иисуса Христа. Призывая нас к этому, св. Церковь предлагает нам заглянуть в свою душу и для этого приводит пример одного человека — Иуды. Вы слышали вчера, слышите сегодня, как Церковь упрекает Иуду, зачем он предал Господа, зачем прельстился деньгами и зачем, совершив грех, не покаялся, а покончил свою жизнь так ужасно?

Подумайте, не совершили ли и вы такого же греха, как Иуда? Может быть по вашей вине, по вашей клевете пострадал какой-нибудь человек. Погубить человека можно очень быстро, для этого достаточно нескольких минут. Ведь и Иуда пал за какие-нибудь одни сутки. „Дьявол ходит, аки лев рыкаяй, иский кого поглотити”, и когда находит, бросается на этого человека и терзает. Так было с Иудой. Мы предаем Господа, когда стыдимся исповедовать веру в Него. Бывает, что человек

* Отрывки из проповедей, взяты из самиздатской рукописи. О. Николай Голубцов был широко известен своим пастырским служением в 50–60-ые годы. См. о нем в воспоминаниях „Сокровища Введенских гор”, помещенных в этом выпуске „Надежды”.

переедет на новую квартиру и забывает Господа, не вешает икон — стыдится новых соседей. Никогда не стыдись показать, что ты, твоя жена и дети — православные христиане. Никто тебе не угрожает смертной казнью за исповедание веры в Господа, а если ты потерпишь за Него какие-нибудь неприятности, то радуйся этому. Подумайте, сколько преподобных, праведных страдали за Господа, а св. мученики показывают Ему свои язвы, которые они приняли за Него и Господь любит эти язвы. Почему? От жестокости? Нет, Он Сам показывает им Свои язвы, которые Он принял за род человеческий. Наши страдания за Господа соединяют нас с Господом.

Надо чаще приобщаться св. Тайн. Человек не знает своего смертного часа. Только что получено известие о смерти одного священника: он был убит из револьвера, неизвестно кем и почему, и оставил 4-х детей. Думал ли он, что умрет такой внезапной смертью, не дожив даже до Пасхи? И мы должны всегда быть готовы к смерти и потому чаще исповедоваться и причащаться. Когда ты приходишь в храм, ты должен забыть все свои заботы. Поручи свой дом и детей Ангелу-Хранителю и будь спокоина за них. Ничего с ними не случится.

Сегодня вы готовитесь приступить к Тайной вечери Господа нашего Иисуса Христа. В сегодняшнем Евангелии вы услышите, как накануне этого дня жена-грешница купила драгоценное мирро и помазала им ноги Господа. Вся комната наполнилась благоуханием драгоценного мирра. Это благоухание пробудило чувство зависти в Иуде, и он сказал, что лучше было бы продать мирро и деньги раздать нищим. Сказал же он это потому, что носил

ковчежец, в котором хранились скромные средства, которые имели от пожертвований Господь и Его ученики. Другие ученики тоже стали говорить, что лучше было бы употребить мирро на нищих, но Господь сказал им: „Вы не видите, какой ценный дар она принесла, вместе с этим мирром, она принесла мне слезы покаяния, которые для меня дороже, чем милостыня нищим. Нищих вы всегда имеете с собою, а слезы покаяния у вас очень редки. Грешник спасается только слезами покаяния”...

*Празднование образа
„Донской” Божией Матери*

Мы празднуем сегодня память Донской иконы Божией Матери и продолжаем праздновать Успение Божией Матери.

Когда Архангел Гавриил благовествовал Божией Матери рождение от Нее Сына Божия, он сказал Ей: „Радуйся, Благодатная”. С этими же словами он обратился к Ней, возвещая Ее Успение. В этих словах выражается особое свойство Божией Матери, отличающее Ее от других угодников Божиих. Она — Благодатная, Носительница благодати Божией. Эта благодать дана Ей Господом за Ее смирение. Никто не может спастись без благодати. Если бы какой-нибудь человек, мог прожить праведно без благодати, то не надо было бы и пришествия Господа на землю, не надо было бы Ему и умирать за людей. Не забывайте, что существует три царства: царство природы, царство благодати и царство славы. Никто не может попасть сразу из царства природы в царство славы, перепрыгнув через царст-

во благодати. Благодать подается нам за труды. Без трудов никто не может получить благодати. Пример таких трудов дает нам Мать Божия. Она всю жизнь трудилась: молилась, постилась, терпела скорби, и только при Ее кончине Господь прославил Ее, явился Ей сам, созвал к Ее одру апостолов, ангелов.

Часто бывает, что сам человек не замечает приумножения в его душе благодати. Господь делает это потому, что мы можем, по своему самомнению, приписать благодатные дары себе, а не Богу. Но невидимо для человека, благодать постепенно покрывает его грехи, принимая в уплату за них его подвижнические труды. И в конце концов, часто только перед смертью, греховный долг оказывается полностью уплаченным, и человек видит свою душу очищенной.

Святители Московские

Сегодня мы празднуем память пяти святителей — Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена. Эти святители много потрудились для блага православной Церкви и для укрепления русского государства. Они знали, что над Россией почует покров Божий. Основной заботой наших святителей было охранение и укрепление истинной православной веры. Они разъясняли народу, что православная вера — наше самое драгоценное сокровище, которое мы должны передать нашим детям. Православная церковь была в это время еще молода, со времени Крещения Руси прошло немного времени, в народе были еще очень сильны пережитки язычества, с

которыми святителям приходилось вести борьбу. С другой стороны, православию угрожала опасность от магометанства. Татары, завоевав русскую землю, принесли с собой много обычаев, чуждых православию, например, многоженство. Святители вели усиленную борьбу с этими враждебными влияниями, учили народ, проповедовали, писали, разъясняли учение Церкви, заботились о строительстве духовных училищ с семинарией. Другой заботой православных святителей было строительство храмов. Ни в один период нашей истории не строилось у нас столько храмов, как в это несчастное для России время. В одном только Кремле 200 лет назад было 80 церквей, неважно, что они были деревянные. Святители были готовы жизнь отдать за Православие, как святитель Гермоген, принять мученический венец, как святитель Филипп. Они не обращали внимание на трудность окружавшей их обстановки, святитель Гермоген находился в заключении, с ножом у горла, но он ничего не страшился, он думал только об одном — с ним Господь или нет? И, если он знал, что Господь с ним, то он уже больше ни на что не обращал внимания. Таково мужество, проистекающее от истинной веры. Внешние несчастья не страшны — они ничто в сравнении с тем несчастьем, которое находится внутри нас. Внутри нас живет грех, это и есть самое большое несчастье, потому что он может принести нам вечную гибель. Это такое большое несчастье, что Сам Господь сошел на землю и принял смерть, чтобы избавить нас от него. Если у нас в сердце живет грех, если у нас внутри все сгнило, то не удивительно, что этот грех отражается и на нашей внешней жизни, омрачает ее...

Митрополит В е н и а м и н (Федченков)

РАССКАЗЫ О ПОДВИЖНИКАХ БЛАГОЧЕСТИЯ

НАСТОЯТЕЛЬ ЗОСИМОВОЙ ПУСТЫНИ О. ГЕРМАН

Это было в 1910 году. Посетить Зосимову пустынь побудило меня желание разрешить один душевный вопрос, который беспокоил меня долгое время. Для этого нужно было посоветоваться с лицом опытным и духовно тонким. Таким мне показался со слов знавших его лично настоятель Зосимовой пустыни о. Герман. И я выехал к нему через Москву. Из Москвы нужно было еще ехать по железной дороге несколько десятков верст на север, мимо Сергиевой Лавры. Крошечная станция Лески. Кругом было сплошное чернолесье. Ни деревни, ни иного какого человеческого жилья. Действительно — пустыня лесная. Но до монастыря нужно было еще пройти пешком около 4 или 5 верст по узкой лесной дороге. Был хороший августовский день. В лесу тихо. Через час пути в просвете между деревьями я увидел обитель. Она была еще новая: храмы и дома казались свежими по краскам. Архитектура была красивая.

Дорога подвела меня к монастырской гостини-



**Митрополит Вениамин (Федченков)
в Псково-Печерском монастыре
(незадолго до смерти)**

це, построенной для богомольцев вне обители. Заведующим ею был иеромонах Иннокентий...

Тогда ему было лет около 35—40. Острое лицо, остренькая черная борода, серьезный взгляд. Он отвел мне в гостинице маленькую чистенькую комнату.

Скоро я отправился к настоятелю. Я ранее слышал, что к нему обращаются с духовными запросами и монашествующие из близкой Московской Духовной Академии, и жители, и святейшие, и великая княгиня Елизавета Федоровна (сестра бывшей царицы). Следовательно, по одному этому можно было заранее видеть в старце незаурядного подвижника и духовного руководителя. Известна мне была и небольшая брошюра, в которой была издана переписка его с знаменитым затворником Вышенским, епископом Феофаном. Там затрагивались, главным образом, вопросы о молитве. Но мне особенно запомнилось одно письмо еп. Феофана о бесах. Отец Герман просил Затворника подарить ему на память какую-либо одежду свою. Епископ Феофан отклонил просьбу. И, между прочим, мотивировал это тем, что с одеждой его в келию о. Германа налетит много бесов и искушений.

Вспоминается и ответ о духовничестве. Батюшке до настоятельства было дано послушание исповедовать монахов и богомольцев. Оно казалось ему трудным и опасным для него самого, почему он просил настоятеля снять с него этот крест, но ему отказывали. Тогда он и обратился с вопросом к Вышенскому затворнику. И, между прочим, сообщал, что иные приходят к нему исповедоваться с одними и теми же грехами многократно, как быть с такими?

Епископ Феофан, насколько я помню, ответил ему, чтобы он никогда не отказывал и таким в исповеди, и сам не растривался их немощами, а также советовал ему разрешать грехи с милосердием, сколько бы раз такие ни приходили. Одно лишь строго заповедовал старцу Затворник: никому не давать и намеков о том, в каких именно грехах каются проходящие.

Для этого положите около места исповеди нож, да поострее: и, посматривая на него, думайте: лучше отрезать себе язык, чем объявить чью-нибудь тайну духовную.

Вот к какому человеку шел я теперь. Увидевши его, я сразу сделался серьезным и строгим, каким показался мне и о. Герман. Высокого роста, с седой мало-расчесанною бородою, с дряблеющим старческим лицом, с опущенными на глаза веками, с холодным спокойно-строгим голосом, как у судьи, без малейшей улыбки, он произвел на меня строгое впечатление. Мы познакомились. Среди вопросов он задал и такой:

— Что вы будете преподавать в академии?

Я начал с более невинного предмета:

— Гомилетику (учение о проповедничестве).

— А еще? — точно следователь на допросе спрашивал он.

Я уже затруднялся ответить сразу.

— Пастырское богословие, — говорю. — А самому стыдно стало, что я взял на себя такой предмет, как учить студентов быть хорошими пастырями.

— А еще? — точно предвидел он и третий предмет.

Я уже совсем замялся.

— Аскетику, — тихо проговорил я, опустив глаза...

Аскетике... Науку о духовной жизни... Легко сказать! Я, духовный младенец, приехавший сюда за разрешением собственной запутанности, учу других, как правильно жить... Стыдно стало.

После мой духовный отец в Петрограде, когда я рассказывал все это в деталях, сказал мне:

— Вы уж лучше умолчали бы об этом предмете.

Потом я открыл о. Герману свою душу со всеми ее недостатками и задал тревожащий меня вопрос. Мое откровение он выслушал с тем же холодно-спокойным вниманием, как и все прочее. На вопрос дал нужный ответ, удовлетворивший меня. В конце беседы я сказал ему:

— Батюшка! Мы, грешные люди, и так вообще заслуживаем сочувствия, но когда вот так расскажем о своих грехах, вы, вероятно, и совсем перестаете любить нас?

— Нет! — все тем же спокойным и ровным бесстрастным голосом ответил о. Герман. — Мы, духовники, больше начинаем любить тех, кто обнажает перед нами свои духовные язвы.

Потом я попросил его назначить мне какое-нибудь послушание в монастыре, — о чем речь далее.

Кстати, с самого входа в его комнату я заметил высокий мольберт и на нем большую незаконченную икону Черниговской Божией Матери: оказывается, батюшка был еще и хорошим иконописцем.

Уходя от него, я уносил впечатление, что он — строгий. Это, впрочем, не удивляло меня и не разочаровывало: из святоотеческой литературы я давно знал, что и святые люди бывают индивидуальны: одни — ласковы, другие — суровы; одни гостеприимны, другие — чуждаются встреч; одни — молча-

ливы, другие — приветливые собеседники. А перед очами Божиими все они могут быть угодниками. Впрочем, об о. Германе от других лиц мне не раз приходилось потом слышать, что с ними он был весьма ласков. Может быть, лично для меня он принимал такой строгий тон, как спасительный мне?.. Нет, думается, он по природе был действительно серьезным и строгим вообще...

Грибное послушание

Как только что было упомянуто, перед уходом я обратился к нему с просьбой:

— Батюшка, не дадите ли вы мне какое-либо послушание, чтобы я до отъезда поработал в монастыре?

Мне тогда припомнилось, что один из товарищей по академии вот также попросил в Валаамском монастыре послушания, и его отправили на скотный двор доить коров. Вот, думалось теперь, и мне дадут сейчас какую-нибудь грязную работу и тяжелую, и я... смирюсь, приму и исполню ее. Но старец оказался пронизательнее меня:

— Какое же дать послушание? Уж лучше отдохайте. Ну, вот разве грибов пособираете на монастырь?

— Хорошо, — ответил я, недовольный, однако, что не удостоился „грязного” послушания.

Но прошел день, прошел другой, и я не думал о грибах. Потом как-то раза два ходил в лес: набрал немного и отдал их на кухню. Думал, что о. Герман и забыл о таком пустяке. Но перед отъездом при прощании он неожиданно задает мне вопрос:

— А послушание-то грибное выполнил?

— Плохо, — ответил я в смущении.

Батюшка ничего не сказал, но я сам почувствовал, что и тут я не оказался твердым.

Однажды, собирая грибы, я запоздал на обед. Пришел в трапезную, когда все столы были вычищены. Трапезный послушник, брат Иван, — он же нес и послушание церковника в храме, — молча, со скромной улыбкой, поставил мне пищу. Это был молодой человек с красивым родовитым лицом... Во время моего обеда монастырские певчие делали в трапезной спевку к празднику. И там мне все казалось прекрасным: и пели хорошо, и грибов я набрал, и, брат Иван — такой хороший. И я как-то сказал о. Герману.

— Какой хороший брат Иван!

— Это у вас душевное, а не духовное чувство к нему, — точно холодной водой облил меня старец. Я молчал и думал: как духовные люди осторожно разбираются во всем, даже и в „хорошем“. Они правы: в нас много бывает всякой смеси, особенно же — в начале опыта. Я снова получил начальный урок. Но самое печальное было еще впереди, к концу.

Этот новый урок был связан с прибытием сюда в монастырь Елизаветы Федоровны и ее сестер — монахинь Марфо-Мариинской обители в Москве. Ввиду их наезда, нужно было освободить для них несколько номеров монастырской гостиницы, и некоторым из богомольцев предложено было переселиться внутрь монастыря. Среди них и я получил какую-то запущенную маленькую келийку, в которой давно никто не жил. Но скоро началась всенощная, и я, по обычаю, стал на клиросе с певчими.

Службы в монастыре совершались необычно-

венно медленно. Но мне еще никогда не приходилось наблюдать такой растянутости и ектений и пения. Вероятно, настоятелю почему-то нужно было это: не хочу осудить его. Но мне такая тягучесть была просто нудна, мучительна. И я стал ускорять темп пения: за мной потянулись и певчие.

Мелькнуло у меня и желание подкрасить этим богослужение еще и „ради княгини”.

Но через несколько минут из алтаря, где стоял на этот раз и настоятель, вышел этот самый брат Иван, о котором упоминалось раньше, и, подойдя к регенту хора, сказал:

— Батюшка (то есть о. Герман) благословил петь реже.

Я понял, что вина тут моя, и немного сократился. Но оказалось — не вполне. Через некоторое время брат Иван во второй раз передал то же распоряжение о. игумена. Стали петь еще реже. Но батюшка и этим не удовлетворился: „Пойте, как всегда!” — передал он регенту строго через брата Ивана. И хор возвратился к обычной тягучести. Служба шла от 6 часов до 11 ночи. Все разошлись после по своим местам.

Я пришел в свою запущенную келийку. Лег спать. Но это оказалось совершенно невозможным: мириады оголодавших блох ожесточенно бросились на меня. Никакие усилия заснуть — не помогали. Так я промучился часов до пяти утра, когда уже начинало рассветать. Наконец, утомленный, я задремал. Но не прошло, вероятно, и часу, как в дверь моей временной келии раздался стук с обычной монашеской молитвой: — „Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-

луй нас!” Я немедленно проснулся и ответил „Аминь!”

Наскоро накинув подрясник, отворил дверь, и какой-то послушник сказал: „Батюшка (то есть игумен) просит вас придти к нему”. И ушел. Через несколько минут я был в кабинете старца. Пригласив меня сесть, он стал разбирать пришедшую почту. А зрение у него было уже плохое.

— Это письмо кому? — подавал он мне прочитать адрес.

— Отцу... (такому-то).

— А это?

— Это — отцу... (другому).

— Вы уж к нам больше на клирос не становитесь! — вдруг заявил он мне все так же ровным голосом, как и с адресами. Я понял, что это урок мне за вчерашнее ускорение пения. А он в объяснение своего приказа добавил:

— Ваши напевы к нашим не подходят.

Не напевы, а темп мой действительно не подходил к их тягучести... Мне, разумеется, ничего не оставалось делать, как молча согласиться: „В чужой монастырь со своим уставом не ходят”, — говорит пословица. Игумен был прав.

После этого он отпустил меня в блошиную келию. Но уходя, я чувствовал необыкновенную душевную боль от этой „обиды”. Хотя игумен был обязан сделать все, чтобы посторонний человек не разрушал установленного порядка, но это правильное соображение не могло умирить мое взбаламученное сердце. Наоборот, боль все возрастала и усиливалась. Я мог бы теперь и заснуть после бессонной ночи, но было уже не до сна. Душа горела от горечи „обиды”. Не помню, пошел ли я уже на литургию,

или было не до молитвы, но я стал настолько мучиться, что нужно было принимать какие-то меры к облегчению страданий. И тут мне вспомнился совет, который я вычитал где-то у Толстого: во время гнева должно заниматься какой-либо тяжелой физической работой. Что мне делать? Грибы собирать? — это легкое дело. Дрова рубить у кухни? Монахи обратят внимание и смутятся. Что еще?.. И я решил замучить себя ходьбой по оврагам, по чащам. Так и сделал. Прошел час, больше... Я уже взмок от пота... Но ничто не помогало: боль не унималась. Сердце щемило: как „он” не пожалел меня? Ведь я — даже не простой монах, а будущий „профессор” академии! Да и почему он уже не мог потерпеть меня? Осталось день или два жить? Да и пение уже возвратилось к обычной медлительности.

Старался я повторять Иисусову молитву, но и это не помогало залить огонь самолюбивого раздражения.

А на завтра, в воскресенье, он уже благословил мне сослужить ему на литургии: как же я буду служить с таким озлоблением против него? Один грех будет!

И мотался я так несколько часов. Но, наконец, пришла мне мысль: необходимо обратиться к таинству исповеди! Однако и к исповеди следует идти, примирившись сначала. Значит я должен попросить у него же еще и прощения?.. Ах, как все это — трудно, трудно!

А тут вспомнился мне и другой инок, против которого у меня уже несколько дней зародилось раздражение: он мне казался святошей, любителем учить и наставлять, самомнительным старцем, и т. д. Значит, и у этого нужно просить прощения?..

Исповедником в монастыре был известный старец о. Алексей. Он назывался затворником, потому что большую часть недели проводил в одиночестве: но в среду (если верно помню) и субботу исповедовал приходивших; к этому затворнику, собственно, и приезжала великая княгиня с сестрами на исповедь. После мне приходилось слышать, как княгиня говорила одному лицу, что о. Герман — „строгий и суровый”. А о. Алексей был много проще и мягче. Сам он прежде был одним из протоиереев при Успенском Кремлевском соборе. Потом, овдовев, ушел в затвор в Зосимовскую пустынь, отдав себя в послушание о. Герману. Тут ему было дано послушание исповедовать. Впоследствии, через 7 лет, он был участником в Московском Поместном Соборе и ему именно было благословление вынимать жребий одного из кандидатов в патриархи. Помню (я тоже был членом Собора), как он, широко осенив себя трижды крестным знамением, опустил руку в ящичек и передал записку митрополиту Владимиру:

— Митрополит Тихон! — громко прочитал тот имя избранного в патриархи.

Вспомню, кстати, что он, после революции, советовал приходившим слушаться Высшую Церковную власть, заповедавшую (хотя и не сразу) признавать новую власть.

Вот к нему я и должен был идти на исповедь. Вопрос у меня был лишь в том, нужно ли у обоих „нелюбимых” монахов просить прощения, или же лишь у о. Германа. Ломая свою волю, я уже готов был пойти к обоим. Но потом усомнился в благоразумности „мириться” с другим иноком, когда у нас с ним не было никакого столкновения, и он

даже не подозревал, что таилось в моей дурной душе. Обдумывая, я предрешил: пока не смущать того напрасно, о. Алексей благословит, а потом попрошу прощения и у него. А теперь, перед исповедью, пойду лишь к о. Герману.

Обычно, по будням, он становился в самом конце храма, на правой стороне, среди других иноков. Как сейчас вижу его: высокий, прямой, с закрытыми глазами, он неподвижно стоял, как столп; и точно не замечал ничего, углубившись во внутреннюю молитву. Вероятно, он беспрестанно творил молитву Иисусову. Несомненно, он был высоким молитвенником, исключительным. Но под праздник о. Герман стоял в алтаре. К нему я направился перед исповедью.

Поклонившись, по обычаю, ему в ноги, я сказал:

— Благословите, батюшка, исповедаться у отца Алексея!

— Бог благословит, — бесстрастно, как всегда, ответил он.

— Батюшка, простите меня!

— Бог простит! — сказал он, точно и не помышляя об утреннем уроке.

— Но у меня против вас, — говорю я, — есть особенное огорчение.

— Какое? — все так же спокойно продолжал он.

— Утром вы строго обошлись со мной.

Отец Герман не стал оправдываться, а кратко сказал следующее:

— Простите меня. Я от природы человек гордый.

Так именно и сказал: не „твердый”, не „строгий”, или суровый”, а „гордый”.

...Но мне уже не требовалось теперь объяснений и извинений: как только я поклонился и сказал

это дивное слово „простите”, из моей души исчезла решительно всякая злоба, мука и водворилась полная тишина! Совершилось известное всем нам чудо благодатного исцеления кающегося. Ни Толстой, ни утомление не помогли, а „простите” дало мир. И я спокойно пошел к затворнику. Рассказал и о грехах раздражения. Он одобрил мое покаяние перед игуменом, а к другому монаху тоже не посоветовал ходить, лишь бы в сердце покаяться на исповеди.

На другой день я с миром сослужил о. Герману.

Потом, намереваясь в понедельник уезжать, сходил к нему попрощаться. Беседа была недолгая, но мирная. В заключение он подарил мне два красных малых яблочка и еще что-то.

Теперь я стараюсь вспомнить: спал ли я две последних ночи? Кажется, да. Куда делись блохи, не знаю... Вероятно, внутренний мир преодолел их кусание...

Довольно рано утром я пешком направился к станции. А свой узелок бросил в возок, на котором должен был ехать игумен — провожать княгиню... Погода была тихая, но облачная... Чувствовалось уже приближение осени. На траве, помнится, была свежая роса... На душе было мирно...

Так прошел я с полпути. Слышу сзади тархтит возок. Оглянулся: впереди — кучер-монах, а сзади игумен с приставом, тоже ехавшим провожать княгиню. Поравнявшись со мною, о. Герман велел остановиться. Потом, молча, без слов, коснулся рукой до плеча офицера и без слов же указал ему на козлы, чтобы он туда пересел. А меня батюшка посадил рядом с собою. Лошадь тронулась опять. Едем. А о. Герман правой рукою обнял меня и ласково погладил по спине. Молчим. А я про себя думаю:

„Да, два дня назад побил! а теперь ласкаешь? Лучше бы тогда не бил...”

Но эти мысли уже были без яда и злобы раздражения.

За нами подъехала и княгиня с сестрами. Подошел поезд. И мы сели. Отец игумен стоял, как всегда, бесстрастно. И даже кланяясь княгине, хранил свое обычное внутреннее спокойствие... Конечно, это был святой подвижник, хотя и сурового типа.

...С того времени прошло целых 35 лет. Пронеслась революция... Потом вторая война с немцами... Я был в Москве на выборах патриарха. И тогда встретил одного человека, бывшего монаха из Зосимовой. Он тоже считал батюшку святым. Но говорил о его ласковости и любви.

Обитель просуществовала, кажется, до 1923 года. Отец Герман еще окормлял ее. И предсказал:

— Пока я жив, обитель не тронут. Я помру, придется вам всем разойтись.

Так и случилось: буквально в день его погребения монастырь был закрыт. Иноки разошлись кто куда.

Что будет дальше — Бог весть...

13 декабря 1956 г.

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ

Родился он в 1854 году, 1 ноября, в день свв. Космы и Дамиана, в селе Беляцком, что на реке Чопке, на границе Таврической и Екатеринославской губерний. Отец его был крестьянин Вукол

Иванович Чудновец; мать — Мария, дети — Симеон, Даниил, Демьян — таково было прежнее имя о. Дионисия, — Мария, Марина и Никофор. Семья была религиозная, ходили к утрени и пели. Демьян рассказывает про себя, что он любил заглядывать в алтарь, чтобы посмотреть, как во время Таинства пресуществления сходит на Дары — Дух Святой.

Пришел срок солдатской службы старшему брату Симеону — по-простому — Семену, но он был уже женат, а второй брат скончался, и Демьян пошел в солдаты за старшего брата. После конца его службы, в 1878 году, умерла мать, а в 1879 году — отец. И Демьян в 1880 году ушел в Бахчисарайский Успенский скит.

Скит был размещен как бы в развернувшейся горе: восточная сторона была очень крутая, а западная — несколько отлогая. На первой, очень высокой, был городок: когда-то здесь жили караимы — секта евреев. При мне он был совершенно пуст. Жил только сторож этого места, у ворот крепостной ограды. Назывался он „Чуфут-Кале”.

А на противоположной, подсолнечной стороне этого городка и находился в горе Успенский скит. Вверху был целый ряд пещер, в которых были и храм, и келии для монахов. Может быть, здесь и в древние христианские времена был монастырь, потому что весь Крымский полуостров принадлежал православным грекам. Но внизу лощины были построены деревянные домики...

Сюда и прибыл Демьян. Игумен принял его охотно и отвел ему место в пещерах. Спокойно — такой у него был характер всю жизнь — принялся Демьян за монашеское послушание. Но вскоре он почувствовал резкие боли в ногах; в пещере было сыро и

темно. Не вытерпел этого Демьян, и спустился вниз, к игумену, жалуясь на ревматизм в ногах и прося дать ему какой-нибудь уголок в деревянных домиках.

— Эх, брат Демьян, брат Демьян! Первое послушание тебе дали и ты не вынес его!

Демьян стал ссылаться на болезнь, желая оправдать себя.

— Ну, что же?! Хотя бы и умер ты: был бы мучеником, — сказал ему игумен.

Тогда Демьян понял значение монашеского послушания и говорит:

— Ну, батюшка! воротите меня опять в пещеру!

— Нет, теперь уже поздно! Переходи вниз!

— И с той поры, — говорил мне о. Дионисий, — я дал себе зарок: никогда ничего не просить, а только исполнять послушание.

В июле 1895 года он был пострижен в мантию с именем Дионисия, в память преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (Вологодской епархии), празднуется 1 июня. Обыкновенно при пострижении меняют мирское имя на другое, преимущественно иноческое — но с сохранением заглавной буквы. И после пострига о. Дионисий был рукоположен во иеродиакона, которым прослужил 4 года. В 1899 году хиротонисан во иеромонаха, а в 1914 году, 60-ти лет от роду, был назначен игуменом Бахчисарайского скита. Перед этим он был заведующим Подворьем в г. Симферополе, от которого Бахчисарай находился в 30 верстах. Здесь он был духовником епископа Таврического Феофана, чтившего его. У него же исповедовался и я, будучи тогда ректором Духовной Семинарии. Из этого времени мне вспоминается один случай. Как-то на исповеди я жало-

вался ему на скорби. Отец Дионисий спокойно сказал мне в ответ:

— Бог бы не хотел давать нам скорбей: но беда наша в том, что без скорбей мы не умеем спастись!

Потом я переведен был в Тверь, а епископ Феофан — в Астрахань, оттуда — в Полтаву. В это время произошло такое событие с ним. Епископ Феофан был человек очень слабого здоровья, и вынужден был поехать в теплый Крым. От Симферополя нужно было ехать до Ялты на извозчике. На пути он заехал на короткое время к о. Дионисию, и быстро отправился дальше. Правящий епископ Димитрий (Абашидзе), узнав об этом, рассердился на о. Дионисия, что тот не попросил на это его благословения и, призвав батюшку к себе, обрушился на него с горячим выговором. Нужно сказать, что он родом был грузин, а они — народ вспльчивый, но отходчивый. (После революции он ушел в Киевскую Лавру и поступил в схиму, с именем схиархиепископа Антония, и прославился на всю Россию как святой старец. Он умер в 1942 году.)

Отец Дионисий без всяких оправданий упал ему в ноги:

— Простите меня, святой владыка!

А тот все горячится. О. Дионисий снова падает в ноги:

— Простите меня, святой владыка!

И так до конца, пока не сошла с него горячка и он не отпустил о. Дионисия...

/.../ Подошла революция. Защитники Крыма эвакуировались за границу. Меня о. Дионисий не удерживал. Сам, конечно, остался. После, уже будучи в Париже, я встретился с одним человеком, который выехал из Севастополя после нас. Расспрашивая

его, я, между прочим, заговорил об о. Дионисии. Тот рассказал следующее:

Отец архимандрит был арестован и заключен в тюрьму. Он переносил это совершенно спокойно. При допросе ему, между прочим, задали вопрос:

— Как ты смотришь на нашу власть?

— Как на наказание Божие за грехи наши!

— А-а! за грехи? Наказание? Ну вот тебе еще одно наказание: чисти в тюрьме все клозеты!

— Это легко, дайте только побольше тряпочек.

И о. Дионисий спокойно чистил.

Через некоторое время его снова вызвали на допрос:

— Ну, а как теперь смотришь на нас?

— Не иначе как на Божие наказание.

Его опять оставили в тюрьме. Потом, видя кротость старца Дионисия и полную безопасность его, освободили из тюрьмы. Он в верстах семи от Севастополя поселился на каком-то хуторе: собрал к себе человек пять послушников и трудился с ними на разных работах... Но потом удалили их и оттуда... Он уехал в родные места Таврической области.

А вот отрывки из записок духовных чад его, которые пришлось мне читать уже по возвращении из Америки на родину в 1952 году, 19 февраля.

Там рассказывается, между прочим, о случае с ульем. У него был всего лишь один улей. Вверху было отверстие под стеклом, в которое о. Дионисий часто с любовью смотрел на то, как работают пчелы. И вдруг улей пропал. Потом открылось, что его украл некий Федор. Улей возвратили. Батюшка охотно простил вора. И после этого он говорил: „Если ты не прощал от всей души человека, тебя оби-

девшего, то ты еще не знаешь настоящей радости”.

Исцелял молитвами своими больных и бесноватых, и они выздоравливали. У него был огромный синодик, который он сам читал раздельно, не торопясь.

— Я, — говорил он, — явственно чувствую общение с загробным миром и ответные молитвы усопших.

Потом рассказывал, что в самую Пасхальную ночь у него было такое чувство, что „крыши над головой нет, а прямо небо спустилось к нам”.

Не любил похвал, и иногда говорил жившим с ним монахам на хуторе:

— Вы-то ведь знаете, какой я грешник! И понимаете — какой вы этим делаете вред мне!

И еще: „Проповедей о. архимандрит никогда не говорил... Но всегда батюшка старался нам внушить, чтобы мы непременно помнили: как Господь нас любит! Ты и представить себе этого не можешь. Но всегда это помни!”

Еще говорил: „Если будешь всегда при церкви, то всегда будут любить тебя, и никогда не будешь одинока”.

Если же я жаловалась, что кто-нибудь меня не любит, то всегда получала от него в ответ:

„О чем ты хлопочешь! Лишь бы ты любила!”

Рассуждая о будущем, о своей судьбе, батюшка обычно прерывал веселым голосом:

„О чем нам толковать? Что Бог даст, то и будет”.

В скорбных обстоятельствах, во всех лишениях мы спрашивали его: как это он всегда спокоен? А он в ответ:

„Мне что? Я — монах. Значит, я всего себя отдал в волю Божию. Я так люблю Его, что если бы Он и в ад послал меня, пойду с радостью исполнять волю Бога!”

В записках его духовных дочерей так описывается конец его жизни:

„В 1930 году, в Великом посту, он заболел тяжелой, мучительной болезнью печени и очень страдал. Никому из нас он не разрешал ухаживать за ним, не желал показывать своих страданий, хотел в одиночестве приготовиться к смерти.

В эту же болезнь батюшка принял схиму.

Но к Страстям Христовым он уже мог выходить в церковь.

В эту весну, после Троицы, всем монахам, в том числе и архимандриту было предложено уехать из Симферополя. Батюшка был спокоен; но руки дрожали и вообще он торопился: признак внутреннего волнения. Переехал он недалеко. Но надо было уезжать и оттуда. Он уже не знал, куда себя деть.

И вдруг неожиданно приезжает наш бывший регент, отец иеродиакон Иннокентий и говорит, что ему в его деревне Петропавловской, около г. Мелитополя, на утренней молитве пришла мысль непременно ехать к о. архимандриту и взять его к себе пожить... И он его увез. В этой деревне он прожил еще почти два года.

Осенью 1931 года ему удалось выполнить свою мечту: побывать в Бахчисарайском монастыре и на монастырском хуторе „Анастасии”. Но батюшка стал печален.

Весною 1932 года, в неделю Жен Мироносиц, батюшка сходил с детьми на речку и полежал там на берегу. Вернулся оттуда усталым, ушел в дом, не поужинав. Слышно было, как он там пел: „Ангел вопияше Благодатней”. А наутро нашли его лежащим на дворе без движения. С ним был удар (с одной стороны), но говорить еще он мог, хотя с

некоторым трудом. В утешение о. Иннокентию он говорил, что у него ничего не болит и что „так легко умирать!” На третий день, 3/16 мая он тихо скончался. Перед смертью батюшка был пособорован и причастился.

На погребении присутствовало семь священников. Похоронили его в оградке. Возглавлял службу благочинный о. Дамиан. Какое совпадение имен: в день рождения батюшка был назван Демьяном, а теперь святые Косма и Дамиан прислали своего соименника проводить его в жизнь вечную.

Отец благочинный сказал прощальное слово на 118 псалом, ст. 54: „Пета бяху мне оправдания Твоя, на месте пришествия моего”. По русскому переводу это понятнее: „Уставы твои были песнями моими на месте странствий моих!”, то есть „заповеди Твои, Господи, были песнями моими на месте странствований моих на земле”.

Вечная тебе память!

ИЕРОМОНАХ КСЕНОФОНТ

Отец Ксенофонт сначала был иноком в Киевском монастыре, потом, еще до закрытия Херсонской обители, переехал в С.

Во время обновленчества все священнослужители города С. зашатались и отошли от православной церкви. И лишь один, небольшого роста, незаметный и мало известный священник о. Агапит сохранил Православие.

В это время Господь послал в С. православного епископа Сергия 3-ва и он воссоединил с православной Церковью кающихся священников. Епископ

обратил внимание на инока Ксенофонта и рукоположил его в иеромонаха. Церковные службы он, как малообразованный, проводил с трудом, но во время гонения от отступников он прославился в С. своим усердием к верующим. Монахи и священники были сосланы, церкви разорены или закрыты. И вот в это время о. Ксенофонт Господь оставил на утешение христианам. Он жил в городе тайно: ночевал в сараях, в собачьих конурах. Но по вечерам и ночам, в ненастную погоду и в морозы он обходил христианские дома: исповедовал, причащал, крестил, напутствовал умирающих, навещал больных, приводил к покаянию отступников или забывших Бога.

В таких подвигах и злостраданиях, без крова и пищи, отец Ксенофонт провел несколько лет, подвергаясь постоянной опасности от злых и неверующих людей.

Во время переписи о вере и неверии некоторые, страха ради, отрекались от Христа и объявляли себя неверующими: одни из них вскоре умирали внезапно, другие мучились в совести и заболели, меньшая часть — одиночки, каялись. И таких кающихся о. Ксенофонт, ходя к ним ночью, воссоединял исповедью и причастием.

Но в конце концов пришлось и ему выехать из города. Поселился он в нескольких километрах от С. у чудного и большой доброты священника о. А., дававшего приют всем гонимым и бесприютным. Царство ему Небесное!

Здесь о. Ксенофонт продолжал нести прежние подвиги, как и в С. Но только теперь у него было пристанище. Днем он старательно вычитывал правила, а по ночам вычитывал многочисленные записки о здравии и упокоении, подаваемые ему

верующими. Читал он их медленно, с трудом, часами.

И точно придерживался устава св. отцов. И непременно требовал такой же исполнительности от других, например, где полагалось произносить 40 раз „Господи, помилуй“, чтобы так и делали. „А зачем же, — говорил он, — отцы и устанавливали это? Раз заповедывали сорок, надо столько и читать!“

Не любил, когда приходили к нему духовные дети в шляпках. И говорил им: „Матерь Божия таких не носила. Надень платок!“

Часто повторял приходившим:

„Надо иметь живую веру! Как рыбу вода, птицу — воздух, так и нас окружает благодать Божия!“

Боролся он против вкуса таким образом: борщ, кашу, кисель или что-нибудь другое смешивал вместе и потом вкушал.

Лицо у него было серенькое, незаметное, как у самых заурядных монахов. Но к концу жизни оно сделалось светлым, прозрачным, очень приятным, как лицо святого, совершенно непохожим на прежнее.

В последние годы его жизни Господь даровал ему отдых: одна добрая христианка, по указанию Божию, построила в своем доме комнатку, взяла старца к себе и посвятила себя уходу за болящим и ослабевшим подвижником. Из этой комнаты о. Ксенофонт никуда уже не мог выходить и в ней совершал свои службы. И в эту домашнюю церковь собирались все почитатели старца.

К концу жизни он страдал болезнью сердца и отеком ног. Ничто не помогало ему: ни лекарства, ни пища...

Стал проявляться в нем дар прозорливости... Не раз он предсказывал: „Много крови будет всюду... Кровь... кровь... А в этом доме (где он скончался) не будет”.

Перед смертью отеки ног и живота еще более увеличились: ноги были как столбы. Но после смерти они исчезли, и все тело сделалось худеньким-худеньким.

Скончался о. Ксенофонт в 1946 году.

ИЕРОСХИМОНАХ СОФРОНИЙ

В 22-х верстах от Ялты, в глубине Крымских гор, покрытых густым лесом вековых деревьев, на небольшой поляне, расположенной у подножия горы, находился маленький скит, называемый „Софрониева пустынь”. Скит был женский, мал и беден. В нем не было ни ограды, ни ворот. У входа в дом скитниц, на согнувшемся толстом стволе громадного старого дерева висело несколько маленьких колоколов. Управлял скитом иеросхимонах Софроний, отличавшийся простотой и смиреннием. Он жил в маленькой келийке, примыкавшей к церкви, устроенной вплотную у самой горы. В келии было небольшое оконце, выходившее в церковь: через него старец выслушивал все службы и правила, совершаемые о. иеромонахом Номом, худеньким, истощенным от поста и молчаливым человеком.

Поздним вечером монахиня на коленях вычитывала правила, каноны Иисусу Сладчайшему, Матери Божией, Ангелу Хранителю. И тотчас же, в 12 часов ночи начиналась полунощница, утренняя, вычитыва-

лись правила к Причастию. Оканчивалось это рано утром.

Весь день жившие в скиту проводили в утомительном труде. Сна было мало.

Старец Софроний был прозорлив.

Однажды в скит пришли два студента. Перед их приходом он велел трезвонить в колокола, сказав: „К нам идут епископ и священник!“ Действительно, один из них стал после епископом, а другой в том же скиту принял иночество с именем Серафим и впоследствии был рукоположен в иеромонахи. Он стал любимым учеником старца Софрония: отличался духовным трезвением, глубокой внутренней жизнью и смирением, весь был в молитве, забывая об окружающем.

Однажды о. Софроний с иноком Серафимом предпринял богомолье в Киево-Печерскую Лавру. На обратном пути они заехали в С., обошли окружающие монастыри и пришли в Херсонскую обитель к празднику Рождества Богородицы, в честь коего был освящен нижний храм Собора. Народу было много. Старец не желал, чтобы узнали о нем. Но каким-то образом люди узнали и бросились к нему за благословением и с разными вопросами. Батюшка этим сильно расстроился. И на другой день они тайно ушли в Георгиевский монастырь.

Там враг устроил им искушение. Иноки были оттуда уже изгнаны. Новые жильцы, неверующие, захватили старца с Серафимом, арестовали и заперли в одну из келий. Но с Божией помощью они чудом выбрались оттуда ночью и убежали опять в С., к одной старушке, знакомой им по скиту. Она, добрейшей души человек, тотчас позаботилась об

угощении. После завтрака она изготовила обед и предложила гостям:

— Что это? — сказали они. — Недавно вкушали и опять? Пустынникам тяжело нарушать воздержание!

Ночевать в комнате они отказались. Тогда кровати поставили им во дворе, но они, тайно от хозяев, простояли почти всю ночь в молитве по разным углам двора.

После они — о. Серафим, о. Ном и о. Софроний — были изгнаны из скита и двоих из них выслали на север, где они и скончались. А отец Серафим, одинокий и больной, выслан был на Украину, где вскоре умер.

Скит был разрушен...

СТРАННИК

Этот странник — Леонид В. С-ов — происходил из богатой семьи, получил прекрасное образование и хорошее домашнее воспитание. Отец его женился поздно, лет сорока. Мать его, София, была благородной, чистой личностью и умной по природе и сама следила за воспитанием детей, хотя у них были и гувернантки. Семья состояла из трех сыновей и троих дочерей. Один из сыновей, М., офицер, погиб на войне, другой, Евгений, кончив М. университет, был блестящим юристом. К ним в дом приходила молодая красивая девушка-еврейка: она торговала на улице папиросами, а к ним ходила набивать папиросы для красивого Евгения. Тайно от родителей он вступил в незаконную связь с этой девушкой. Но мать его София, узнав об этом грехе, пригласила

к себе ее (имя ей было Раиса) и заставила своего сына, избалованного юриста, жениться законным браком на этой девушке с улицы. Из нее, под влиянием матери мужа, вышла прекрасная женщина и ревностная христианка. Впоследствии Евгений стал священником, а во время гонений был отправлен в ссылку в Сибирь, где и скончался. Раиса окончила жизнь свою мученически; вместе со своим сыном она была расстреляна немцами, как еврейка, несмотря на то, что была крещена.

Третий сын, Леонид, отличался особой религиозностью: еще будучи студентом М. университета, он посещал Троице-Сергиеву Лавру. Там он познакомился с духоносным старцем Алексием, который вынимал жребий на выборах патриарха.

Старец заповедал Леониду В. чаще креститься. Еще студентом он был взят на войну 1914 года и всех удивлял тем, что часто крестился. Солдаты его любили, товарищи-офицеры дивились, считая его поведение чудачеством. По окончании войны умерла сестра его Мария, особенно любимая им. Это совсем потрясло его, и он, оставив все, сделался странником, по благословению о. Алексия. Отправился сначала на Кавказ. Недалеко от г. Сухума в лесу находился женский монастырь. Л. В. пожил в нем несколько времени и хотел уходить дальше. Но когда он в церкви монастыря стоял на коленях перед иконой Божией Матери, молился Ей, то увидел Ее живою в образе. Она повелела ему остаться здесь. И скоро он стал замечать недостатки у обительниц: они обзаводились хозяйством, разводили кур. Он стал их обличать, что они живут не по иноческим заветам. Некоторые монахини стали прислушиваться ему и исправляться, а большинство, вместе

с игуменьей, восстали против него и изгнали его из монастыря. Тогда он стал странничествовать по городам, зовя людей к покаянию. В пути останавливался только у христиан — и притом по прямому указанию Божию. Жил как птица: ходил босиком, волосы не стриг, и они густой волной покрывали его голову. Высокий, в желтом плаще, с высокой палкой в руке, он одним видом своим привлекал сердца ко Господу, а потом действовал благодатным словом. Слова его были так сильны, что без слез нельзя было слушать его.

Пришел он и в Крым, и здесь извлекал из духовных бездн души, намеченные Господом к покаянию. Своих учеников и слушателей он приучал к постоянной молитве Иисусовой.

Ночи проводил в молитве сидя. Пищу вкушал, как траву. И предсказывал будущую войну. Толковал Апокалипсис — по благословению о. Алексия. Изгонял бесов из тех людей, которые для этого указываемы были Господом.

Множество бедствий, гонений, клеветы, оскорблений перенес он за Христа. Дьявол ненавидел его, мстил, прельщал его, подсылал ему девушек и женщин. Но он молился о них, и в их присутствии вытаскивал из своей головы вшей и бросал их на пол, желая этим вызвать к себе брезгливость и отвращение.

Для получения благодати посылал к одесскому батюшке о. Ионе Атаманскому. Часто и сам бывал у него. Отец Иона очень любил его и высоко ценил. В одном письме к нему писал: „Ты мне сын, брат и друг“. Делился с ним своими духовными видениями.

Л. В. познакомился с молодым профессором М.

По его приглашению он пришел к нему в дом, и они, забыв обо всем, три дня и три ночи, ничего не вкушая и не выходя из кабинета, просидели, разбирая Апокалипсис. И профессор сделался учеником Л. В. Позже его арестовали и выслали.

Однажды он хотел выйти из одного дома, уже подошел к дверям, как увидел в дверях Ангела с огненным мечом, преграждавшего ему путь. Он понял, что выходить нельзя. Действительно, его выхода ждали, чтобы арестовать.

Да и арестовывали его не раз и ссылали. А он везде вновь и вновь продолжал свое дело, возложенное на него Господом.

Так, в опасностях и злостраданиях проводил Л. В. свою земную жизнь. Окончил ее он мученически. Выслали его в Казахстан и требовали отречения от Христа. Конечно, он отверг это. А в 1937 году его расстреляли.

ПУСТЫННИЦА МАРИЯ

Мария Егоровна Мелези была замужем за итальянцем Мелези Иваном Антоновичем. Он был глубоко верующим и добрейшим человеком. И Марья Егоровна была простая и бесхитростная, некрасивая, с грубоватым лицом, покрытом прыщами и обезображенным оспой. Она была глубоко привязана к своему мужу. И когда он неожиданно умер, она совершенно растерялась: „Ивана Антоновича нет!“ — твердила она всем. — „Ивана Антоновича нет! Что же мне делать?“

Сильно затосковала она. Родственники, желая утешить ее, предложили перейти к ним на житье.

Она послушалась. Продавши свой домик, Марья Егоровна перевезла к ним имущество, а потом и отдала им его, понемногу перешли к ним и деньги.

Постоянными слезами и вздохами: „Ах, Иван Антонович! Ах, Иван Антонович!” — она утомляла и раздражала своих родственников и они стали ею тяготиться, потом начали упрекать ее, грубо с ней обращаться, оскорблять. Из комнаты перевели ее на кухню, а затем — в маленький холодный коридорчик. Но и там она мешала им, хотя она переносила все это безропотно.

Однажды она услышала о Прасковье Фоминичне* и как-то пришла к ней. Очень ей понравилось у нее: тишина, никто не ругает, тепло. И скоро она, с согласия Прасковьи Фоминичны, перешла к ней жить совсем, как бы на положение домработницы, или точнее — приживалки.

Однажды П. Ф. сказала ей:

— Марья Егоровна! Сходи-ка ты в Инкерманский монастырь.

— Что вы, что вы, Прасковья Фоминична! Да я никогда там не была и дороги-то не знаю.

— А ты иди по рельсам, все по рельсам и спрашивай: где Инкерманский монастырь? Тебе и укажут. Дойдешь до мостика, перейди его и иди по дороге.

— Да как же так, Прасковья Фоминична? Я боюсь...

— Иди, иди, не бойся.

Нечего делать, надо идти, раз П. Ф. велит. Пошла. Прошла неделя, другая. На третьей неделе вернулась М. Е., да такая веселая;

* Схимонахиня Серафима, которая обладала даром прозорливости.

— Ах, как хорошо там. Все такие добрые, хорошие. Так меня кормили, так кормили! Марья Егоровна, да Марья Егоровна! Все мне так рады! Один батюшка, старенький такой, даже в ноги мне поклонился: благодарил! А я им подштанники, носки, рубашки починяла. Так уж рады мне были они! Так кормили: и хлебом, и борщом... Поживи у нас, да поживи! Так хорошо, так хорошо!

Прошло некоторое время. П. Ф. опять говорит:

— Марья Егоровна! Сходи-ка ты в Херсонес. Там погостишь, поживешь.

— Что вы, что вы, Прасковья Фоминична! Я никогда не бывала и дороги не знаю.

— Спросишь, тебе люди и укажут.

— Да я боюсь.

— Иди, не бойся.

Пошла. Вернулась недели через три веселая.

— Ах, как хорошо! Как мне были рады! Один батюшка говорит: поживи, другой — поживи. Да кормят меня все. А я ем да ем. Одному — подштанники, другому — рубашку починила, носки заштопала. Поговела у них. Так хорошо. Так хорошо!

Спустя некоторое время П. Ф. отправила ее в Георгиевский монастырь, затем в Бахчисарай, в Космодемьяновский монастырь, и наконец — пешком же — в Киев.

Прошло много времени. В Пасхальную ночь вошла высокая монахиня с палкой в руке и огромным мешком на спине, а к поясу был привязан чайник. И вся она — высокая, как гора. Е. С., прислуживавшая П. Ф., взглянув на нее, вскрикнула:

— Марья Егоровна! Христос воскрес! Откуда вы?!

Лицо М. Е., прежде грубое и некрасивое, теперь

было просветленное, очень приятное, бледное, худощавое.

— Воистину воскрес! — ласково ответила М. Е.
— Воистину воскрес, голубка моя!

— М. Е.! Из церкви, пожалуйста, приходите ко мне!

— Нет, голубка. Я пойду сначала к своей наставнице, которая указала мне путь спасения.

И слезы полились из глаз М. Е.

Е. С. обомлела: Марья Егоровна, прежняя тупица, простодушная, ничего не соображавшая, теперь говорила такие слова — и с таким чувством... Со всем другое создание! В Киеве она познакомилась со старцами духовной жизни. Они открыли ей глаза на ее наставницу — П. Ф.-ну и одобрили ее путь странничества. Там же она приняла монашество и по благословению старца исходила всю Россию — до Москвы, поклоняясь святым местам.

Прошло еще несколько лет. Прасковьи Фоминичны уже не было в живых. Е. С., келейница ее, с некоторыми другими благочестивыми женщинами поехали на Новый Афон. Оттуда, по совету братии, они отправились на лошадях в Сухум, в Драндский мужской монастырь. Монах, обслуживающий в гостинице приезжих, узнав, что они из Севастополя, сказал ей:

— А у нас есть здесь ваша землячка, по фамилии Мелези, а по прозвищу — пустынноца Мария. Живет она далеко в горах, в пещере: приняла схиму. При ней есть и келейница, которая вычитывает ей правила.

— А нельзя ли к ней пройти? — спросила Е. С.

— Не-е-ет: река сильно разлилась от дождей, не пройдет. Может она сама придет, — ответил монах.

— А как же она может придти, если река разлилась?

— Пустынница ходит по воде как по суху!

Так простую неграмотную женщину Господь за глубокую ее веру и простоту, за смирение и послушание, наградил чудесным даром — подобно Марии Египетской.

Когда же Марию Егоровну спрашивали: зачем она носит на спине тяжелый мешок с камнями? — она отвечала:

— Так легче ходить...

На этом кончаются записки, дошедшие до меня. Неизвестно, удалось ли богомольцам видеть Марию Егоровну в этот раз или позже. И каков ее конец, тоже не написано. Может быть, она тогда была еще жива и прожила еще несколько лет... Но одно ясно, что это было незадолго до революции, когда всех монахов, монахинь и пустынников с воинской силой выгнали с Кавказских гор... Были слухи, что их посадили на пароход... Конец неизвестен...

Из Драндского монастыря прибыл ко мне в Симферополь назначенный инспектором семинарии монах, архим. Иоанн Раев, потом умерший от туберкулеза в Полтаве... Это было в 1913—1917 годах. Тогда, следовательно, Драндский монастырь еще был цел. Вероятно, около 1910—1911 гг. была еще жива и пустынница Мария. А может быть, и немного раньше.

Теперь Ново-Афонский монастырь превращен в курортный городок... Одна моя знакомая во время отпуска ежегодно ездила туда и писала мне свои впечатления...

БАБУШКА ВЕРА

Детство и юность бабушки Веры прошли в тяжелых условиях. Круглая сирота, она с ранних лет принуждена была служить в чужих людях. Господа выдали ее очень рано за пьяницу-драчуна, гонявшегося за женой с ножом, а то и с топором по двору. Спасалась она от озверевшего мужа в сарайчике, в углу которого висела икона Иоанна Воина, у которого она всегда искала защиты от мужа, бросаясь перед ним на колени.

Ей было уже около 65 лет, когда муж ее скончался. После его смерти она начала часто ходить в церковь и прислуживать там; со всем усердием вымыв громадный пол собора после обедни, бабушка шла домой и отдыхала: чувствовала она себя необыкновенно хорошо. Питалась плохо, бедно.

Заболели у нее ноги и она не могла уже выходить из дома и двигаться. В комнате ее, рядом с постелью, стояли столик и стул, и она с великим трудом и болью переползала с кровати на стул. Присматривала за ней ее старшая дочь, тоже калека — жившая со своим мужем в том же доме и много досаждавшая своей матери; вероятно, это перешло к ней в наследство от отца.

Бабушку Веру посещал иеромонах Херсонесского монастыря о. Августин. Он посоветовал ей принять иночество и сам постриг ее, а через некоторое время облек ее в схиму, — с именем Варвары.

Кто-то сказал м. Варваре, что принявшие иночество не должны после пострига вкушать и спать в течение 40 дней. С глубокой верой мужественная душа послушно и кротко выполняла этот совет, молясь с четками.

Бабушка была проста душой и неграмотна, но мудрая и послушная. Когда боли в ногах усиливались и учащались судороги, м. Варвара молилась следующими словами: „Господи, ты еще не испытал моего терпения! Наложь на меня крест еще тяжелее”.

Враг рода человеческого, за терпение ее и перенесение болезней, сильно нападал на нее, устрашая разными страхованиями и привидениями. Однажды ночью около стола, стоявшего рядом с ее кроватью, где сидела м. Варвара и тянула четки, вдруг явился отрок и протянул ей руку. Она сразу поняла, что это есть наваждение вражье и изо всей силы плюнула ему на руку — и он исчез. В другой раз около двух часов ночи открывается дверь со двора и входит знакомый ей священник о. Иоанн, почитавший ее, и говорит:

— Здравствуй, бабушка Вера!

Она удивилась, что пришел батюшка в два часа ночи, и ответила ему:

— Давай петь „Иже херувимы”. — И тот исчез.

Все эти страхования не пугали матушку и она не обращала внимания на них никакого, а продолжала молиться. В конце жизни ее болезнь ног так усилилась, что ноги свело к подбородку, и страдальца не могла удержаться от стонов и крика. В таком состоянии она и умерла. Так как ноги нельзя было выпрямить ей, то гроб изготовили в виде глубокого ящика. Лицо ее в гробу было беломраморное, светлое.

Скончалась она в 1930 году.

ЛАМПАДКА

Так прозвали люди рабу Божию Анну П.

Рано, против своей воли, когда ей не было и 16 лет, выдали ее замуж за 17-летнего доброго юношу, с которым она жила в любви по заповедям Божиим.

Рано утром, идя на службу, он был убит злыми людьми. Много горьких слез пролила она, оставшись вдовою с детьми-сиротками. Любимая ее дочь через 9 месяцев после замужества умерла от родов. Младший сын невинно был расстрелян. Но все скорби А. П. переносила безропотно, предавая себя и детей на волю Божию. Постоянными словами ее были: „Как Бог даст!“. „Как Богу угодно!“, „Да будет воля Божья“. Крепкую веру в Бога заложила она и в своих детей. Вся ее радость и утешение были в Боге. По смерти мужа А. П. усилила свои молитвы и добрые дела. Раз в неделю она неизменно ходила в Херсонесский монастырь к почитаемому старцу о. Серафиму, ее духовному наставнику.

Утешая ее по смерти убитого мужа, старец говорил ей:

— Такую смерть заслужить надо!

В другие дни она посещала больных и в домах, и в больницах; передавала пищу узникам в тюрьме, ходила по монастырям, давала в своем доме приют странникам, монашествующим. Как-то всю зиму прожил у нее бездомный „босяк“, как его называли. Нищих она целовала, как „меньших братьев“ Христовых, снабжая их пищей и одеждой, сначала накормив их и дав им пищу в дальнейшую дорогу.

Анне П. было уже более 70 лет, когда в ее дом зашел старик Л. (см. „Странник“). Она сидела на

кровати в своей комнате. И вдруг лицо ее все преобразилось, сделалось светлым, румяным, глаза увеличились, стали прекрасными. Взглянув на нее, странник Л. воскликнул:

— Хоть сейчас пиши икону!

После такого случая знавшие ее стали замечать такое же изменение после принятия Святых Таинств: оно сияло благодатью!

Во сне Анне П. велено было читать следующую молитву:

„Да восхвалим Господа нашего Иисуса Христа: Святой бессмертный, спаси мир от великого бедствия! Да будет кровь Господа нашего Иисуса Христа оправданием нашим! О Боже Бесконечный! Яви нам милосердие Свое ради крови Сына Твоего и страданий Его на кресте!”

Эту молитву Анна П. всегда читала.

Перед смертью ее, рано утром, другая дочь ее услышала во сне голос за окном: „Она впереди всех лампадок! Ты слышишь?”

Дочь вскочила, побежала к окну, открыла форточку и ответила: „Слышу!” С этих пор и привилось ей слово „лампадка”.

Незадолго до самой смерти ее дочь вьявь услышала чудное пение птиц на дереве перед домом. Она позвала старшую сестру... Обе вышли во двор и слушали пение. И обе подумали, что это — сигнал: „Скоро мамочка уйдет от нас!”

И действительно, она скоро скончалась. Дочь ее с горя скорбела и обливалась слезами. Но в момент смерти матери ее ей неожиданно вошла в сердце радость: и она начала петь пасхальные песнопения перед телом усопшей матери: „Христос воскрес из мертвых”, „Воскресение Христово видевше”.

Через несколько месяцев после ее смерти, в Великом Посту, дочь встала рано утром и, помолившись, снова одетая прилегла и слегка задремала. Вдруг в комнате появилось белое облако. Оно опустилось и в нем, в центре, появилось лицо ее покойной матери. Строго глядя на дочь и указывая на иконы, Анна П. произнесла: „Почему часы не заводите?“ — дочь тотчас очнулась и, вскочив с постели, начала, как всегда делала с покойной матерью, — вычитывать 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы...

— Читатель, вспомни в своих молитвах рабу Божию Анну.

Так заканчивается житие усопшей, которое я переписал для себя с небольшими изменениями...

СТАРЕЦ САМПСОН

БИОГРАФИЯ БАТЮШКИ *

Отец иеросхимонах Сампсон (Сиверс) родился в 1898 году 9 июля (27 июня) в С.-Петербурге, в день странноприимца Сампсона, в семье графа Сиверса Эспера.

Отец его был военным, окончил академию Генерального штаба. Мать (Анна) — англичанка, давала уроки английского языка и музыки, ученица Фара-ра, высокой нравственности и культуры. Батюшка особенно ее ценил и почитал.

Батюшка был крещен в англиканской Церкви в С.-Петербурге именем Эдуард. Рос очень живым, наблюдательным, резвым ребенком.

В возрасте 7 лет он зашел в собор Спаса Преображения, что на Литейном. Службу совершал Преосвященный; подойдя к мальчику, он возложил руку на его голову перед образом Спаса Нерукотворного, сказав иносказательно, что он будет в Православии.

С этого времени мальчик особенно стал тяготеть к Православию... Молитва англиканской Церкви его не удовлетворяла, и он часто посещал православные храмы, где отмечал особую теплоту и простоту,

* Из самиздатской рукописи „Беседы и поучения старца Сампсона”. М., 1979.

что его притягивало. Самостоятельно стал посещать уроки Закона Божия, о чем доложили его родителям. Деньги, которые давали родители на завтраки, он тратил на покупку православных книг, упиваясь, читал их в своей комнате.

По его свидетельству, в 12 лет он ясно представлял и православие и англиканскую Церковь и заявил родителям, что будет посещать только православную церковь.

В 14 лет в Казанском Соборе Батюшка объявил Преосвященному, что хочет принять Православие. Преосвященный предложил вопрос: „А как понимаешь: „да святится Имя Твое?“ С этим вопросом Батюшка ушел. Через некоторое время, придя к Преосвященному, он объяснил. Преосвященный ответил: „Теперь можешь креститься“*.

Он принял крещение именем Сергей, в честь преп. Сергия Радонежского, в день св. великомуч. Пателеймона.

Отец готовил его в офицеры эскадрильи, он был в морфлоте. Революция 1917 года все изменила, все сделала иначе... Он избежал гражданской войны после чего Бог судил ему быть монахом Православия.

Батюшка закончил Петроградскую медицинскую академию и духовную семинарию, духовную академию не закончил по обстоятельствам.

В 1918 году поступает послушником Саввы Крипетского, под Ленинградом. Был послушником с именем в рясофоре Александр — в честь бл. кн. Александра Невского, нес послушание конюха, выкармливал поросят, которые шли на налог за монастырь.

* По-видимому, речь идет о миропомазании.

В 1918 году из монастыря заключен в тюрьму и вскоре без суда и следствия был „поставлен к стенке”. В бессознательном состоянии, с тяжелым ранением правого плечевого сустава был вытащен из кучи мертвых тел двумя монахами, которые следили за его судьбой по указанию игумена.

После лечения в госпитале в 1920 году поступил в Тихвинский монастырь, в котором иподьяконствовал Владыке Алексию (будущему Патриарху). В мае 1921 года переходит в Александро-Невскую Лавру, где Наместником был Николай Ярушевич (митроп. Николай Ярушевич). Здесь он был келейником Владыки Алексия и вместе с тем нес послушание ризничего, ходил на сборы.

25 марта 1922 года был совершен постриг в мантию именем Симеон, в честь Богоприимца Симеона.

В этом же году рукоположен патриархом Тихоном в иеродиакон.

В 1925 году за ранней литургией на Крещение Господне был рукоположен Преосвященным Васианом в иеромонахи.

В 1929 году — вновь тюрьма. В 1934 году после тюрьмы приехал в Борисоглебск, так как ему был запрещен въезд в Ленинград и Москву. Там вместе с архиепископом Арсением служил пятым священником в храме „Знамение Божией Матери”.

В 1936—47 гг. — тюремное заключение. В тюрьме был главврачом тюремной больницы, лечил тюремных больных и военнопленных... Всех церковных служителей реабилитировали, но местная власть решила его навсегда оставить в тюрьме работать главврачом. Ему пришлось бежать из тюрьмы... Самыми страшными были годы Киргизии. Это — логовище бесов. Из нор выползали разные гады,

гадюки и проч. Только Иисусова молитва и Всемилостная могли его спасти от всего этого ужаса.

В 1947 году вернулся в Борисоглебск больным, без документов. Отсюда уехал в Ставрополь к архиепископу Антонию (митр. Антоний). Он дал ему служить в Винодельном и Кольгутае. Из Кольгутае в бочке спасается от ареста. Тогда архиепископ Антоний направляет его в Баку, где он вновь подвергся аресту, так как не имел документов. На праздник Казанской Божией Матери его выпустили, но никаких документов не выдали.

В 1948 году приезжает в Пензу к Владыке Кириллу, который направляет его служить в Мордовию, в село Перхляй (2 месяца), потом в Рузаевку, и, наконец, в Макаровку под Саранском, где он служил в течение пяти лет. Макаровский сельсовет после тщательной проверки выдает бессрочный паспорт.

В 1953—56 гг. служит в селе Спасское (Мордовия). Вся Мордовия очень полюбила Батюшку и до сего дня о нем помнят.

В июне 1956 года Батюшку направляют духовником в Полтавский женский монастырь, где он служил до 1957 г. Оттуда направлен в Астрахань, из Астрахани в Сталинград. Здесь был до 1958 года. После Пасхи получил назначение в Одессу. Летом 1958 года его переводят в Печоры, в мужской монастырь, где он нес различные послушания и духовничество.

В 1963 году после первой недели Великого Поста начались особые скорби для Батюшки: особо тяжелые дни поношения и клеветы. Местное начальство (монастырское) не смогло его защитить (может быть, не захотело). Начальство монас-

тыря совершило самоуправство: своим судом лишило его не только сана, но и всех монашеских одежд, выписав его из монастыря и, таким образом, отдав его гражданским властям. Было заведено дело в прокуратуре. Не дождавшись конца разбирательства и зная свою невиновность, Батюшка покидает Печоры и выезжает в Ленинград. В Ленинграде получает уведомление о закрытии дела, так как оно не было подтверждено фактами.

Из Ленинграда поехал в Москву. Святейший Алексий, прослезившись, велел немедленно одеть Батюшку в монашеское одеяние (подрясник, рясу). Владыка Леонид тут же принес в Патриархию свое одеяние и одел на Батюшку.

Все потрясения, как печальные, так и утешительные, Батюшка так глубоко переживал, что говорил: „Мое счастье, что Бог даровал мне ясную веру, ибо психика человека может не выдержать, можно стать неверующим”.

Из Москвы (примерно, в мае 1964 года) Батюшка уехал в Ставрополь. И на летнюю „Казанскую” этого же года вернулся в Москву. На этот раз ему вернули сан, назначили пенсию. С этого времени он стал проживать в Москве.

Начиная с 1965 года состояние здоровья очень ухудшилось. Совет старцев решил, чтобы он принял св. схиму во исцеление.

В 1966 году 16 сентября (3 сент.) принимает св. схиму именем Сампсон в честь Странноприимца Сампсона.

После принятия св. схимы состояние здоровья улучшается. Батюшка много работает, занимается исповедями, ведет огромную переписку с духовными лицами и частные собеседования. Непомерная

нагрузка, особенно бессонные ночи опять подрывают его здоровье. 22 января (9 января) 1974 года его парализовало. Только через год он встает на ноги.

Начиная с 1977 года состояние здоровья ухудшается. Частое воспаление легких, грудная жаба. Но работает без отдыха ежедневно до глубокой ночи.

19 июня 1979 года был сильнейший приступ, „скорая” увозит в больницу. Предлагают операцию. Он отказывается от операции, выписывается домой. Но через 10 дней опять „скорая” увозит в больницу. 15 дней ничего не ест, кроме воды, боли ужасные, приступ следует за приступом. Пришлось согласиться на операцию. Оказался рак толстой кишки в последней стадии, множественные метастазы во внутренние органы.

После операции состояние очень тяжелое. Из реанимации выписывают прямо домой: врачи боялись внезапной смерти.

9 августа он дома. Батюшка просил всем, кто его знает, сообщить о его состоянии здоровья. Народ приходил прощаться. Успел каждому и каждой дать совет о дальнейшей жизни.

Всем завещал особо чтить день Православия наравне с Великой Пасхой. И до последнего издыхания особо чтить Божию Матерь. Всегда восторгался: „Какие мы счастливые, что мы православные! Какие мы богатые!”

Послушание в обители Саввы Криветского

Там я полагал начало. А дело было так. Надо было мне как-то провести летний отдых. И мне втемяшилось почему-то непременно устроиться в русский монастырь. И так я как-то об этом глубоко думал и как-то про себя молился, чтоб Господь ими же весть судьбами устроил.

И вот я иду по Моховой улице. На углу Церкви праведн. Симеона — моего будущего святого — и Анны встречаются мне два монаха Гервасий и Протасий. В рясах с крестом, с четками, только в шляпах... И подходят ко мне: „Молодой человек, о чем-то вы задумались?” Мне было 19 лет, а я посмотрел на них: явные посланники Божии. Я говорю: „Мне бы хотелось познакомиться с монашеством и поступить в монастырь для того, чтобы узнать на месте, что такое монашество”. — „Так, молодой человек, пойдете вместе”. Я говорю: „У меня сейчас денег с собой нет и надо вещи кое-какие взять”... — „Вот мы и условимся, возьмите сундучок ваш и самое необходимое и приходите вот сюда к паперти праведных Симеона и Анны”. (А я жил на Моховой № 12, где жил министр внутренних дел Дурново — знаменитый царский министр. В этом доме у нас была большая квартира. Моховая 12.) — Захватите с собой немножко денег на билет, рабочее платье, потому что вы будете работать”.

Ну, я и явился. Я сказал маме: „Я поеду в русский монастырь отдыхать”. — „Ну, Эдя, поезжай”.

Отцу не сказали ничего: отец будет волноваться, это может помешать...

Я явился. Они ждут, Протасий и Гервасий: „А мы взяли на вас билет, поезд отходит...” Я не помню с какого вокзала, на Псков. И поехали. Доехали до станции Торошино, проехав Псков.

„Вот мы и приехали, будем вылезать. Пойдем на станцию, там есть наше подворье, там стоит наша лошадь и бричка”.

Какая-то маленькая часовня деревенская и при ней какой-то домик... какой-то монах там был. Вот и подворье. Но ведь была война с немцами. А рядом большой дом был пустой и был заполнен ранеными и вояками, была гражданская война. Ну, сели в бричку и поехали в монастырь, 26 км лесом по проселочной дороге. Болота, кочки и палки. Комаров — тучи. Помню, я здорово испугался: „Куда я еду, куда меня везут?!” А дело сделано, я еду. Подъехали к какому-то небольшому озеру, проехали озеро. Вокруг озера — и обитель стоит. Маленький монастырь, огромные стены... Прежняя крепость Ивана Грозного, воевали с ляхами... Постучали. Ворота были закрыты. У них там пароль был, Гервасия и Протасия, и с нами приехало три еще гостя, — прямо к игумену. Игумен Василий — мой будущий хозяин, которого я впоследствии возил, будучи кучером... Он повесился. Не выдержал, как я потом узнал.

Маленькая такая, уютная-уютная обитель. Посредине обители — кирпичный храм с одним приделом. По стенам — деревянные строения: баня, прачечная, трапезная, покои игумена, братский корпус двухэтажный, амбары, где хранились мука и все богатство, которое давала нам земля, чтобы прокормить братию. Скотный двор — за оградой, отдельно, и по всему монастырю могилы и надписи: схимонах

такой-то... Схимники лежат... Оказывается — все это непокорные бояре, которых Иван Грозный насильно постригал, и здесь они умирали. Там много их было.

Игумен принял меня очень ласково. Когда я вошел, игумен даже встал, увидев мою окаянную персону. Поговорили очень хорошо. Велел меня отвести в рухольную, это склад, куда сдают вещи. Велели снять мой костюм, ботинки, галстук и т. д. И дали мне латаный подрясник какого-то покойника-иеромонаха и лапти. К лаптям конечно, портянки. И скуфейку покойника-монаха. Сундучок отобрали: „Когда вы уйдете из монастыря, получите его обратно. Пока живете в монастыре, сундучок будет у нас. Умрете — сундучок пойдет на пользование кому-нибудь. Теперь пойдём, посмотрим келию вам”. Вот в два раза больше, чем эта моя, по ширине. На козлах доска, на доске мешок, набитый сеном, и такая же подушка. Такое старое, очень ветхое одеяло, похожее на какую-то портянку, что ли. Гвоздь. „Вот на этом гвозде будете вешать ваш подрясник”. Икона Божией Матери. Крест над ней, на столе керосиновая лампа, псалтирь, правильник, Евангелие на славянском языке... ну и все. „Вот, будете здесь жить”.

Ну и все. Живи, как хочешь. Вот настоящее монашество, не то что мы живем.

А завтра на работу. Первое послушание было — мыть коров. Там было 48 коров. Я должен был их мыть. Носить воду, конечно, из „качалки”... они тогда не ранены обе руки были, я был такой ловкий, я спортом занимался до расстрела. Меня из этого монастыря взяли на расстрел.

Сначала я мыл коров, потом мне предложили

попробовать доить коров. Женского персонала не было. Монахи стирали, монахи гладили, монахи штопали, монахи ухаживали за скотом. Женского персонала ни-ни. Если богомолка придет одна на воскресенье, то за ней караул специальный, чтоб никуда не уклонялась. В воскресенье, в двенадцатый праздник, вот в Преображение, — 5 богомольцев. Некому. До ближайшего селения было 10—15 км болотом, далее — деревни. Большой частью монастырь посещали старички. Остальные работали — лето ведь.

А потом мне предложили на кухне дрова рубить и помогать повару картошку чистить. Потом перевели меня на тесто: тесто месить в хлебную. Огромный чан, туда я должен был всыпать 2 мешка муки, завести эту брагу специальную. Затем воды, столько-то ведер конских, а потом я начинал уже мешать. Большое весло — и вот ходишь вокруг чана часа 3—4, месишь это. Опираешься, конечно, в живот, потому что невозможно тяжело. И когда тесто вскиснет, тогда начинаешь оттуда вытаскивать. Пекарь приходил уже на готовое тесто.

Потом меня послали кучером игумена. Дали мне хорошую лошадь, рысака, бричку. Красавица такая была, названием „Звездочка”. Она меня очень любила, такая дружба с ней была... Я игумена возил на станцию, возил к властям, в сельсовет.

К нам стал приезжать агроном; описывали наше имущество, сколько у нас запасов разных. Потом послали нас драть кору, обложили нас налогами. Потом игумен вызывает и говорит: „Ты пойдешь в село Никандрово за поросятами. Нам надо платить налог мясопоставки, а у нас мяса нет. Значит, разводи свиней и сдавай государству. Надо это начи-

нать". Вот меня, голубчика, и послали за поросятами. Дали мне большой мешок: „Ну, Александр, иди! Лесом пройдешь, село пройдешь, в общем километров 40 пешком, не заблудись". Село Никандрово, недалеко от Никандровской пустыни преподобного Никандра Псковского. Знаменитая Никандрова пустынь. Я добрался туда, нашел эту избу, где условились продать двух поросят. Этих живых поросят — в мешок и пошел в монастырь. Они пищат. Весь я мокрый; пищат, кричат, прыгают... там в мешке... ведь он же неудобный, а мне идти еще пешком. Вот я помучался... помню, что я даже плакал... Притащил домой. Они живы оказались, не подошли, ничего. А я шел долго, часов 8... еле живой добрался...

Но вот они дали потомство. Все отходы от пекарни, от трапезной шли на корм свиней. Пошла мясопоставка. Знаменитая штука была...

А потом вызывает игумен: „Ты будешь табунщиком". 42 лошади было и надо, значит, их пасти, чтобы кормить их. Я был наездник хороший. Я с детства приучался к верховой езде. Любого скакуна я держал в руках. Потому мне дали хворостину подлиннее, сел я на лошадь без седла и погнал в лес. А за лесом поле, там волки. „Смотри, Александр, чтобы волки не съели ни одной лошади, а то мы с тебя спросим".

Всенощная в субботу, а я — лошадей пасти на всю ночь. Звонят к обедне, а я гоню своих лошадей домой.

— А зачем столько лошадей в монастыре?

— А как же. Рабочие... пахать, боронить. Мы сами все делали, ничего не покупали.

Потом пошла пора пахать, боронить. „А ну-ка,

становись к сохе”. И я ходил за сохой, водил лошадей. Потом боронить, потом косить, приготавливать сено коровам, лошадям. Потом жать: „Вот тебе серп”. Баб ведь нет, надо всем монастырем жать овес. Потом убирать сено. В общем все работы, которые только есть, приходилось делать. Только крыши не могу красить и покрывать.

Да, это экзамен был Промыслом Божиим. Господь готовил меня в монахи...

Расстрел

...пулемет на тачанке шел за мной, именно должны меня расстрелять... думали — я убегу...

...Человек двадцать вооруженных с лентами через плечи... А комиссар был человек ... в белой рубашке, в правой руке револьвер, а в левой руке я был... „Держитесь за меня, ни полшага от меня, вас могут сейчас повесить!!! Я вас не дам им”. И он повел меня к тачанке.

— Он вас не расстрелял! А кто тогда?

— Нет!.. Вагончики... Северный вагон на путях... Я сидел 22 дня в этом вагоне... Допросы... Ночью...

— Там много вас было?

— Там было... на каждой... доске четыре человека... Это были преступники, убийцы... И благодаря тому, что я получал передачу из монастыря... каждый день... бачок молока... творога и большую буханку хлеба... И этой буханкой хлеба кормил всю... тюрьму... всех... Но они убивали друг друга... Меня они не трогали... Я весь во вшах и т. д. и не вообразить!.. Расстреливала бригада... Этого комиссара не было, он только сопровождал. Он довел до какого-

то здания, а оттуда меня повели в вагончики с решетками...

— Из чего вас расстреливали?

— Из ружья, в 10–15 шагах... Человек 6–7... Мне стало жарко, попали в руку...

— Вас подобрали?

— Монахи. Они караулили.

— Разрешили подобрать???

— Ночью... украли... Я помню подошел ко мне какой-то, ковырнул меня: „Ну все, все!!!” — и ушли... А они были под стогом (монахи)... Исаакий и Евласий...

— Как они довели вас до монастыря?

— Они везли не до монастыря. У них были приготовлены красноармейская шинель, фрунзенский колпак... красные... красноармейские пуговицы... белье... На вокзал увезли... И они под предлогом раненого красноармейца меня увезли в Ленинград на квартиру к маме... „Получайте сына”... А она — англичанка — она спокойна... Она владела собой... сказала: „Большое спасибо... Большое спасибо... Большое *вам* спасибо!” Она больше их не знала... Она англичанка, чопорная такая... Она скучала по родине... Благородно терпела... Она уехала в 23 году в Англию специально... и она, имеющая два образования высших и институт благородных девиц... и четыре языка, — подавала в ресторане... Мама на родине у себя оказалась эмигранткой...

Ссылка в Борисоглебске

...Там были собраны отбывавшие срок за беспаспортное житие в горах Кавказа. Матушка Фессалоникия моя, вот Мария, да Фреза... тогда Груша

была и Валентина с Ираидой — Ириной. Владыка Арсений (Смолянец) ... Вот мы там собрались все друг друга не знавшие. Владыка Арсений (Смолянец) отбывал 12-й раз свою ссылку. Пришел в лаптях, огромный, выше меня ростом на голову и в плечах очень широкий, стоял в ряду нищих. А мы как-то заметили, что это необыкновенный человек, что это необыкновенный нищий. Он не просил ничего, просто стоял и молился... святой старец...

— Он от смирения стоял в среде нищих?

— Да просто некуда было деться ему... Потом... мы все это узнали и вытащили его оттуда, одели, дали ему все необходимое, рясу, подрясник и т. д.

И вот эта группа — Фессалоникия и Мария (будущая преподобная Мария), да Фреза и Ирина — мы жили вместе.

— Все-таки, как вы туда попали? И как же — ссылка и в то же время вы их встретили?

— А я первый срок так отбывал... Вольная ссылка. Под надзором. Каждое 15-е и 1-е число я являюсь в ГПУ, что я не сбежал, отмечался. Но они знали, что я никуда не убегу, — куда мне бежать?!

— А вы там работу выполняли?

— Работу, а как же. Я давал уроки в средних учебных заведениях... В одной школе немецкий язык, в другой школе английский язык.

Тюрьма, 1938 год

..Я сам на себе испытал, что можно вполне 11—12 суток быть без воды. Я потом, в тюрьме, это на себе испытал. Я объявил голодовку, чтобы потребовать следователя... в 1938 году... между прочим, когда

меня хотели судить еще раз. Считали, что я недостаточно судим, чтобы найти причину, чтобы меня расстрелять. Опять заключили в особое помещение и т. д. и т. д. И вот я 11 суток был без воды.

Я считал, что какой-то закон благородства и честности есть, что им будет нахлобучка какая-то, когда я письменно в 2-х экземплярах написал, что я объявляю смертельную голодовку. Ну, конечно, я уже даже не ползал, держась за стены, а только лежал, совершенно изнемог. „Мухи” были, конечно, и черные, и синие, разные, и я не мог даже головой шевелить... Все двигалось, шевелилось и т. д.

Каторга, побег

...Куда я — в халате и в колпаке... и выскочил куда-то из морга...

— В чем же вы бежали, одежды же не было?

— Была одежда. В шлепках, чужие штаны... я собирал. Я готовился к побегу. Я сначала два раза ездил в командировку для того, чтобы изучить способ побега и ход, как мне идти... Я должен был заметить те селения, где собаки, особенно собаки, где колхозы...

Я обошел пустыню, я прошел весь Киргистан, всю Киргизию. Ко мне вылезали жабы и все большие эти змеи из нор, бесы и всякое... Мне досталось здорово... Если бы на мне не икона Божией Матери...

— У вас икона была?!

— Икона была Божией Матери — Взыскание погибших. Она погибла... Не то /.../ взяла ее у меня... Великая святыня! Эта историческая икона, которая со мной была, была в канале — Ферганском кана-

ле... Взыскание погибших... Вот она моей святыней была. Она меня сохранила весь путь из тюрьмы, когда я был в Ферганском канале (Ферганский канал им. Сталина), и я там тонул вот с ней. Когда меня взяли на кладбище, я был с ней. А крест кипарисовый пошел Дусе в гроб, а ее крест я одел...

... Я попался, на пути им попался. Я нарвался на правление колхоза: „Кто вы такой? Откуда вы взялись и куда вы идете?” и т. д. Предложили мне ужин, предложили мне чаю. А с наступлением сумерек — уходите. Темно, кругом собаки, а я должен идти. Куда мне идти. Они могли сообщить по телефону в милицию. Вот тогда я кричал, кричал („Все-милостивая”, „Иисусова”)...

...Когда я прошел Сибирь и очутился в Средней Азии, я наткнулся на голодную пустыню. Надо было ее как-то пересечь, а у меня не было карты, а ближайшей точкой у меня был Ташкент. Милостию Божию встретился мне очень подходящий человек, который согласился меня взять на самолет, летящий в Ташкент.

Я подошел к одному „кукурузнику”, который возил шерсть от баранов в Ташкент. Он летел, к счастью, порожний. Я к нему подошел и спросил: „Вы куда летите?” Узнал, что он летит в Ташкент. „Возьмите меня с собой. Вы понимаете, что я не простой человек?” — „Вижу по вашим рукам, что вы не простой человек. Садитесь, но держитесь, потому что я вас привязывать не буду, веревки нет”. Я влез в заднюю половину самолета-кукурузника. И выходило так: я сидел на маленькой доске... Там были две доски, фанерная стенка из тонкой фанеры, под ногами — ничего, земля, опереться было не во что. Я оперся (я был в тапочках) крепко

в угол доски, потом приказал себе строго-настро-го вниз не смотреть, а смотреть в окошко, на его затылок. Он передо мной в окошке сидел за рулем и управлял самолетом. И мы поднялись. Я чувствую, что дойду до обморока: голодный, пить хочу, несколько суток не ел, во рту не было воды. А надо лететь... а если я не воспользуюсь этим самолетом, то я пропал. Ну, для нас, монахов, конечно, упование — Небо. На земле у нас никого нет... Самое главное — не смотреть вниз, а то сразу делается дурно, и я пропал. О крышу головой — стук и все! А вот это окно было такое, что я весь влезу и упаду. А имейте в виду, что самолет летел не прямо, а были „ямы” — так и вот так. И вот я летел 3 часа. А он озирается, смотрит на меня в окошко: здесь? Значит, хорошо. А вдруг нет? Пустое место?! А внизу — песок, знойный песок и бушующий ветер с песком. Иногда попадались стада овец, собаки, на лошади человек — он их погонял. Верблюдов видел — шли гуськом куда-то... А мы высоко летели, но ниже облаков. Иногда влетали в область облаков и было интересно посмотреть, что это — сливки или сметана. Хотелось лизнуть.

„Вы, — говорит, — держитесь. Нам осталось — пустяки, скоро подлетаем”.

Издали я уже вижу, что селение, уже Узбекистан. Он резко повернул направо. Мы летели с северо-востока через весь юг на Ташкент и постепенно стали опускаться. Голова стала кружиться, потому спуск и давление на уши. Тут надо было быть очень осторожным. „Ну, держитесь! Сейчас будем землю трогать, приземляемся!” Вот этот толчок, которым я мог бы как-то сдвинуться со своей доски! Я уже чувствую, что я пьяный, у меня уже

нет больше сил терпеть. Только бы поскорее! Если я упаду на землю, то это будет земля, второй этаж, скажем. Со второго этажа, хотя и разобьешься, — не так больно будет. Наконец, плавно опустился, видимо, ради меня и остановился. Я вылез и упал. Упал на землю от радости: все-таки это земля! Лежал я долго, вероятно. Он подошел ко мне, он думал, что я мертвый. Ничего.

...Благородный человек был. „Ну, всего хороше-го!” Мы пожали друг другу руки. „Вам в город? Вот видите — там город”... А мы еще за городом. До Ташкента еще пешком километров пять. Я пошел. Наконец-то уже на земле!

А потом нашелся и Лука архиепископ. И Арсений Новгородский, Арсений (Смолянец) Тверской. А потом нашелся и Филипп Астраханский.

...Он встал и расцеловал меня...* „Вы совсем мой. Отныне вы от меня не уйдете. Что хотите, то и будет. Я предлагаю вам остаться у меня и быть ректором Пензенской семинарии. У меня закралась идея открыть семинарию для священников и дьяконов, потому что вы знаете, что у нас духовенство очень плохо развито там и т. д. Вот я вам и поручу быть ректором”. А я в кепке пришел, весь вшивый, в тапочках и пальцы торчат из тапочек. А зима, снег. „Ну, теперь, куда вы идете?” — Я говорю: „Пойду на вокзал, у меня очередь. Может, вы мне дадите маленькую толику, чтобы заплатить за билет?” — „Ну, конечно, конечно”. Он расплакался, давай скорей... и денег надавал мне, и хлеба надавал, и все. Я ушел на вокзал, потому что я в очереди стою: надо ехать дальше. А потом, так как очередь у меня была

* Владыка Кирилл Пензенский.

10 дней, и я 10 дней сидел на вокзале, то я к нему еще раз зашел, потому что у меня все кусочки хлеба закончились и надо было что-то поесть. Он меня опять угостил и т. д. Ну, я ему пообещал, что приеду уже умытый и приведу себя в порядок и не буду его смущать ничем.

Я исполнил его желание. Как только я год отлежал на печке в Борисоглебске, потому что — нельзя было показаться, я приехал к нему уже в подряснике, конечно, и волосы были такие. Вид у меня был приличный. „Это вы тот самый?!” Он не узнал...

Я его хоронил. Замечательный святитель из протоиереев. Он был священником в соборе Петра и Павла, где служит сейчас владыка Иоанн, в Куйбышеве. Он был настоятелем собора Петра и Павла. Оттуда его взяли, голубчика, „бриться”, как нас всех. И он отбыл 10 лет конюхом. Он лошадей чистил и лошадей мыл, ухаживал за ними. Где-то в лагере.

Он поставил меня в очень неловкое положение, когда я, наконец-то, приехал к нему. Он обрадовался по-своему и тут же указ: „Настоятелем Рузаевского молитвенного дома”. А протоиерея с палицей — на второе место. И мне, иеромонаху, было так неприлично... „Извольте подчиниться, мне виднее”...

ИЗ БЕСЕД БАТЮШКИ С ДУХОВНЫМИ ДЕТЬМИ

Условия молитвенного делания

Вы никогда не спрашивали себя, почему я сегодня не могу молиться, восставши от сна? Голова отдохнула, кости отдохнули, ничего не болит... А почему же не хочется молиться, почему мне трудно мо-

литься, неужели матушка-лень во мне еще сидит после сна 7 часов и больше? Конечно, надо искать причину в чем-то другом.

Вопрос. Значит не только лень, что-то и другое есть?

Ответ. Тут лень ни при чем. Это значит укоризны совести от нечистого сердца, от которого исходит „вся злая”. Значит, надо скорее сесть за стол, взять карандаш и бумажку и вспомнить что ж такое было, что я сказал плохое вчера, днем или вечером ли, что я подумал плохое? или что мне хочется плохое? что меня лишает способности и права молиться. Не забудьте, да? Способность и право молиться, да? Бывает так, что мы способны, но мы не имеем права. Мы кого-то не хотим простить, и не пытаемся простить, да? Мы злопамятны.

Вопрос. Что же в это время не надо молиться, если мы способны, но не имеем права?

Ответ. Нет, запиши это на исповедь. Тем, что ты записала это на записке духовнику, ты пишешь Богу, ты уже начинаешь получать право молиться. Это таинство начинает совершаться. Во-первых, ты фиксируешь свое раскаяние, свое самоосуждение, да? Свое намерение принести Богу покаяние, да? Свое намерение обесславить себя перед человеком и этим получить прощение, да? Ты фиксируешь свое намерение проклясть грех тем, что ты пишешь. И ты начинаешь уже читать, не читать, а молиться, оплакивать покаянно, подтверждая, именно, свою запись. Это психология Богообщения.

А если мы знаем, что мы человека обидели или огорчили и знаем, что, вероятно, он молиться не может, потому что обижен, если он не спохватился и не нашел сил меня оправдать и извинить, значит, он не

может молиться, да? Он помрачен, да? Он сегодня не христианин, да? Его покинул Ангел Хранитель, да? А виноват я. Это и есть христианство. И закон любви нарушен, да? Закон любви.

Нет, никакие подвиги поста, милосердия, милостыни, литургии не помогут. Ты должен примириться с Богом, осознать грех, иметь намерение и поспешить при первом удобном случае скорее-скорее попросить прощения. Вот почему гордому человеку так трудно мириться с Богом. Потому что он не может сказать: „прости меня” такому же человеку, как он сам. Это вся загвоздка наша — вот эта окаянная гордость. Самолюбие — это причина всем бедам — от которого зависит вечная жизнь и вечное спасение. Почему св. отцы говорят, что где нет смирения — нет спасения. Пусть он будет постник, пусть он будет молитвенник, вычитывать будет кафизмы, акафисты — не поможет. Он будет вериги носить, он будет спать на полу — не поможет! Это будет фанатизм. И вот, на самом деле, Господь дал нам в Евангелии закон — заповеди блаженства, да? Там не указано: постись, надевай вериги, корми вшей, не купайся, снимай белье в год раз; там это не указано нигде: почитай иконы, зажигай лампадки, свечи — нет такого?

Блажени милостивии, блажени чистии сердцем, блажени нищии духом, да? Блажени чистии сердцем — это особенно замечательно — это обнимает и первую, и вторую, и третью... Чистота и, между прочим, блажени нищии. Это не есть чистота плотская только! Нет! Чистота сердца. Имеешь право молиться, всех любишь? Всем простил? Это чистое сердце. А если ты — лукавая — лукавое сердце, зна-

чит, оно ни в коем случае не может молиться, оно враг Богу, а друг — бесу.

Вопрос. Человек уверен, что он любит, хотя если по поступкам смотреть, он вообще никого не любит...

Ответ. Ему кажется от своего себялюбия, от своей гордости, от своего большого „Я” о себе.

Вопрос. А как психологически? Вот он уверен, что он людей любит?

Ответ. Видишь, в чем дело? Очень простая вещь: у такого человека не бывает жертвенности.

Не иметь в своем сердце „Я”... Не поправляясь, не подсказывая... Это начало смирения, смирения сердца. Без этой скромности не может быть вообще понятия о смирении. Но скромность непременно связана с целомудрием, так? Нескромный и нецеломудренный не может быть смиренным, не может быть скромным... Он только на вид скромный, на самом деле он наглец. Поэтому эта скромность непременно связана с внешним поведением, целомудрием... Никого не обучать, никого не учить, не подсказывать, не поправлять, *не поправляться*... Вот это ближайшая тропинка к смирению. Смирение сердца, да? Понимая, что я муха... Кто нарушает вот эти особые свойства и проявления скромности, тот *не имеет части со смирением*. А кто не имеет смирения, тот не имеет надежды на спасение вообще... Только милостью Божией...

А у нас смысл жизни и цель жизни одна — спасение. Наша земная жизнь — она очень коротенькая, не имеет никакого смысла вообще, так? Вот почему христианский мир разделился с языческим миром... Тот, кто имеет земное счастье на земле, тот и кончает кладбищем, *бессмыслицей*.

Вопрос. Как понять: поправляться и не поправляться?

Ответ. Поправляться — это когда скажешь что-нибудь неладное, неточное — не переправлять, а пусть думают, как хотят: плохо ли, хорошо ли — нас это не может беспокоить.

Между прочим, не поправляться — это очень сложная и трудная добродетель. И кто поправляется — тот не имеет смирения...

Поправлять себя и бояться, что его осудят, о нем подумают и скажут плохо, да? ... Это поправляться... Это — первая кратчайшая тропинка, чтобы приобрести смирение — не поправляться. Смирение сердца... А смирение сердца даст смирение ума, смиренномудрие, так? А без смирения сердца смиренномудрие, смирение ума *немыслимо*...

О Богопознании и оправдании

...От молитвенного делания появляется Боговедение, Богопознание. Богопознание невозможно приобрести книгами, чтением, а только молитвенным деланием, плачем и воплем, коротенькими маленькими молитвами. Вот епископ Феофан, замечательный педагог был. Он как раз подтвердил правильность педагогическую: научить людей молиться не только своим умом, а всеми своими жилами. Все его жилочки, все его косточки молятся. Он „выдирается” — к Богу. А длинные молитвы — они неправославные. Неправославные вероисповедания, они молятся длинно и умом, без участия сердца. Мне пришлось три года посещать лютеранские богослужения и протестантские богослужения на немецком и французском языке... Они молятся, во-первых,

импровизациями, у них книжек нет, как кому вздумается, на ходу сочиняют молитвы, длинно и бежит туда, откуда не вылезешь... Так же и проповедуют... Научить кого-нибудь из лютеран, протестантов, неправославных людей молиться православно — невозможно! Молятся только в Православии коротенькими молитвами, ну и Иисусовой, конечно, или с кончиками Иисусовой*, да?! То есть заставить жилы, кости молиться. Епископ Феофан говорил, что ты защити себя на часах. Как тебе положено. Скажем, положено читать утренние молитвы 20 минут? 20 минут стой перед иконами и на иконы не смотри, и 20 минут читай одну и ту же молитву. Вот это будет молитва. Медленно, очень медленно, каждую букву, чтобы был пронизан мозг, ум... Вот почему он предлагал самим людям сочинять свое правило и читать его. „Царю Небесный” — 4 раза, „Святой Боже” — 9 раз, „Пресвятая Троице” — 6 раз, „Отче наш” — 3 раза. Богу ведь нужно сердце, да?! Не молитвы, а сердце нужно. Надо его переделать, перестроить, смягчить, сделать это сердце огненное, огнеобразное, да?! Чтобы был огонь или факел. Как Преподобный Серафим был факелом. Это представить себе даже невозможно. Он стоял босыми ногами на снегу, и вокруг него таял

* „Кончиками Иисусовой”: в одной из бесед Батюшка объясняет, что это такое. К началу Иисусовой молитвы: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий” добавляются прошения из молитвы святого Иоанна Златоуста на сон грядущим (24 молитвы, по числу часов дня и ночи). Например, „Господи Иисусе Христе Сыне Божий, не лиши мене небесных Твоих благ”, „Г. И. Х. С. Б., избави мя вечных мук”, „Г. И. Х. С. Б., умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя” и т. д. — все 24 молитвы по тому количеству раз, которое положено.

снег, потому что он молился. Это был огонь. Он палял буквально все. Это и есть молитва. Это не только разговор вести с Богом — это огонь, пылающий огонь. Этот огонь очищает, обновляет, оживляет, из совершенно больного делает здоровым и никакие лекарства ему не нужны. Научись молиться — и будешь здорова. Из самого хилого больного человека молитва делает крепкого, здорового, выносливого, энергичного. Только молитва. Конечно, законная молитва, не какая-нибудь! Только православная молитва, от духа сокрушенна и смиренна. Весь секрет в этом. Кто не молится — от духа сокрушенна и смиренна — горох кидает о каменную стену.

Незаконно просим, да?! Молимся в состоянии смущенности, чувствуем, что мы дерзко просим и молимся. Нам не хочется сказать: „Да будет воля Твоя во всем, во всем, во всем, да будет воля Твоя“. Это наше несмирение, наша непокорность. Когда мы в таком состоянии молимся, у нас бывает состояние не радости, не тихости. Это — барометр молитвы. А барометр „услышания“ — мирность, тихость... тихая радость, да?! А когда этой тихой радости нет — что-то такое было незаконно. Потому что даже печаль, печаль может быть законная, но без оттенка языческого отчаяния. Конечно, мы люди, у нас печали бывают неисцельные, даже если мы приносим печали в молитвенном делании, пробивая эту стену, это облако печали Иисусовой молитвой — лучше всего! Надоедливой „Всемилюстивой“ („Всемилюстивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево, Богородице Марие, Мати Божия, не гнушайся меня, не отвергай меня, не оставь меня, не отступи от меня, засту-

пись, попроси, услыши, помоги, помоги, прости, прости, Пречистая).

Надоедливая — она как-то забивает печаль. Почаще надо повторять: „Во всем, во всем да будет воля Твоя. Но во всем, во всем да будет воля Твоя”.

Вопрос. Как совместить молитву Иисусову с молитвой за богослужением?

Ответ. Это очень важно! Во-первых, ни в коем случае не читать механически Иисусову молитву, читать тем же плачем, не беспокоясь, что ты не слышишь песнопений и чтений богослужения. Оно непременно будет. Будет только двоякая работа: уши будут слышать пение и чтение (и часть мозга), а сердце будет плакать, вопить Иисусовой. Это будет сливаться вместе...

Христианское сердце

Не раз я хотел спросить вас, почему вы не догадаетесь спросить меня: „Что же вас так угнетает? Что же вас так печалит? Почему же вы так расстраиваетесь!”

А всегда одно — нехристианское сердце. Злое сердце, не желающее простить. Враждующее сердце... с Богом, потому что не хочет простить и не желает простить, не намерено простить и сочетает право читать молитву Господню: „И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим...” — и тут же враждует сердцем и разумом своим с человеком.

После этого я бываю настолько угнетен, что ничего мне не мило, потому что внешняя форма, она, ведь, не нужна никому, тем более Богу.

И думаю... всегда решал так: значит до них еще

не дошло, что весь секрет, вся соль христианства есть: простить, извинить, оправдать, не знать, не помнить зла. Не греха, а зла.

Пьяница, блудник, гордец, — он получит милость Божию, но кто не хочет простить, извинить, оправдать и сознательно, намеренно... этот человек зачеркивает себя на вечную вечность перед Богом, тем более сейчас. Он бывает отверженный и неуслышанный.

Вопрос. Это свойство христианства, оно может быть врожденным или его надо вырабатывать?

Ответ. Не только вырабатывать. От Духа Святого. Врожденное свойство характера от родителей бывает, а христианские свойства — это свойства Духа, а не души.

Вопрос. Уже врожденным никак не может быть?

Ответ. Нет. Это уже озарение Духа Святого, через Таинства, через молитвы родителей, особенно матери. Оттого, что мать воспитывает ребенка уже от себя, духоносно. Она его часто причащает, часто водит в Церковь, часто подносит под иконы, постоянно освящает крестным знаменем... Не молясь кормить ребенка нельзя, потому что мать передает ему свое Богопредстояние. Ребенок этим и освящается и просвещается, через кормление матери. В этом и заключается таинство материнства. Это особая статья, очень интересная и очень мало, к сожалению, батюшки наши ею занимаются, считая, что здоровье физическое — прежде всего.

Надо всегда помнить разницу душевную и духовную, и физическую. Жизнь духа и жизнь души, чувств, и жизнь телесную. Как раз здесь получается путаница... Можно передать ребенку от матери, от родителей замечательное свойство характера,

души, так? Но не свойство Духа веры, любви к людям.

Вот почему сатана так и ополчился на нас... сатана на православных людей. Раз мы открыто всегда посягаем на его влияние духовное, злой силы, злого влияния. Понимаете, почему они — воины духовные (монахи) воюют с дьяволом и ангелами их дьявольскими, демонами, бесами, уже умертвив свои душевные страсти. Они до пострига должны быть упразднены. Поэтому когда постригают в монахи, уже постригают его зрелым, он не знает тщеславия, он не знает блуда, он не знает чести.

Вопрос. Зло и немощ человеческая, какая разница между ними?

Ответ. Зло — это свойство сердца, а немощ человеческая, это может быть немощ волевая, немощ психическая и немощ нервной системы. Надо различать... между духовными и душевными свойствами...

*О борьбе с грехом, о милостыне,
о протоиерее Кононове*

Вопрос. А есть милостыня духовная. Можно же подавать не только деньгами или материально, но и чем-нибудь другим?

Ответ. А как же. Советом, сочувствием, слезой, своей слезой, или своей радостью с радующимися, или отдать свое собственное, себе нужное. По правилу: никому никогда не отказывать. Бывает так, что ничего нет. Отдай свой носовой платок, если он чистый. Отдай. Тросточка есть — отдай тросточку свою. Иди домой без палки, без тросточки.

Я рассказывал, что когда мы шли по улице с

отцом Иоанном Кононовым, он просил нищего: „подожди минуточку, я зайду за уголок и тебе принесу сейчас”. Оказывается, он шел за уголок, снимал свою рясу, свой подрясник, снимал свою единственную, свою последнюю рубашку и приносил: „вот, возьми, пожалуйста”. И оставался в подряснике, и кончилось тем, что у него больше белья не было. Он стал надевать кофточки своей жены. И таким же образом он отдавал кофточки нищим. Жена стала плакать: ей надеть нечего. Но скоро она умерла...

Как он любил все отдавать! От него прятали и сахар, и соль, и крупу прятали. Все отдавал. Книжки отдавал, иконы отдавал. Была такая любовь! Он говорил: „Ну как же я его не утешу, как же я его не возвеселю, как я его не обрадую”. Он ему напихает массу изумительных мудростей духовных: он окончил Казанскую Духовную Академию. Мы вместе сидели в тюрьме. Я у него часто служил на приходе. Он у меня служил. Мы были друзья. И нас посадили вместе, голубчиков. Сначала в разных камерах, а потом решили нас соединить. И мы сидели почти год вместе, вдвоем. Не знали, что мы знакомы. А потом кто-то нас разъединил все-таки. Я остался один, его убрали. Его освободили потом, но ненадолго...

Он был проповедник изумительный, духовник изумительный. Психолог, бесноватых лечил, больных лечил. У нас с ним шла всенощная по 6 часов: „Давайте еще раз споем?” Мы и так на „Господи воззвах” на 12, пели, еще раз — 12: „Как сладко, как хорошо, давайте споем”. Народ пел, у нас певчих не было. „Отец Симеон, давайте споем, давайте споем еще раз?”

/.../ Канон у нас всегда был на 12-ть, редко на 8 — это в субботу и в праздник какой-нибудь.

Конечно, его взяли, голубчика, и меня заодно потом прихватили. Понимаешь, это изумительный был человек... Это святой, действительно, был. Да и сейчас покажи карточку святого бесноватому — бесноватый будет выть.

Вопрос. От одной карточки?

Ответ. Фотографии, его фотографии... Знаменитый Кононов, протоиерей Иоанн. Он под Ставрополем служил... Он попал в ссылку, в Борисоглебск, где я отбывал ссылку, то есть высылку. И вот мы там познакомились. Он 12 раз сидел. А причины не было никакой, потому что он политикой не занимался, антисоветских разговоров никаких не было. Это был очень мудрый, разумный человек. Как говорят — „пастырь добрый”. Евангелие знал наизусть, от корки до корки. Его кандидатская и магистерская работа была, знаешь, какая? На тему о Достоевском, о „Братьях Карамазовых”. Он разобрал с христианской точки зрения эту сцену братьев Карамазовых и старца Зосимы. И за это он получил кандидатскую степень...

О совести

/.../ Мы должны понимать, что наш инструмент, который называется совесть, она чрезвычайно нежный инструмент. Как мы слышали часто — нежнее, чем дамские часики, да? Дамскими часиками вы пилить дрова не будете, нет? Они у вас останутся, да? Вы колоть дрова не будете, нет? Механизм испортится, да? Так же и наша совесть. Малейшая незаконность, она отражается на нашей совести,

на нашем зеркале. Это глас Духа Святаго. Вот почему, понимаете, малейшее насилие над волей своей, над своей совестью нам вменяется в смертный грех. Когда мы насилуем себя, да? Мы знаем; ведь бывают такие вещи. Мы заставляем себя грешить, уговариваем себя, принуждаем себя, нудим себя. Хотя наша вольная воля и внутренний глас, который называется совестью, протестует, так? Вот какая была бы замечательная жизнь, если бы люди совесть понимали и оберегали. Тогда не надо было бы иметь ни милиции, ни судей, ни тюрьмы — ничего. Люди бы оберегали друг друга. Боялись бы греха. А грех — есть оскорбление Бога, боязнь оскорбить Бога — это и есть любовь к Богу.

Вопрос. Совесть бывает и у неверующих людей?

Ответ. Обязательно. Это ведь свойство, которое дается Богом как закон естественный от рождения. Но она бывает развита у них очень грубо и слабо, а освященная святым крещением совесть и, тем более, Святыми Таинствами — эта совесть бывает очень чуткая, нежная, тонкая, да? И чем больше мы очищаем свою совесть покаянием, и плачем, и таинствами покаяния, что есть очищение, тем она делается у нас еще чувствительнее. Вот почему угодники Божии такие поразительно были чуткие на любовь и на грех, да? В этом, собственно, и заключается смысл совершенствования.

Вопрос. Батюшка, а если у человека совесть омрачена? С чего он должен начинать? Можно ли восстановить чистоту совести?

Ответ. Обязательно. Надо постараться этот корешок окончательно вырвать из себя таинством покаяния и не только пойти к священнику каять-

ся. Этого слишком мало. А недельки две наложить на себя пост; читать каноны покаянные или Иисусову — покаянное правило. И именно оплакивать грех и выпрашивать помощи, чтоб не повторялся грех, а потом пойти к священнику и еще раз покаяться. Вот это освящение через таинство вселяется в человека, и сам по себе грех или привычка забывается, не повторяется.

Вопрос. Батюшка, а почему в наше время пост не на первом месте стоит, а как-то его везде игнорируют или он бывает формальный?

Ответ. Да потому, что понятие о любви к Богу, понятие о своем личном спасении и вечности сейчас все меньше и меньше сказывается у каждого из нас.

Вопрос. Батюшка, ведь сказано, что пост есть мать всех добродетелей.

Ответ. Воздержание.

Вопрос. Воздержание и им нельзя пренебрегать?

Ответ. Невозможно. Невозможно!!! Это нелепо! Мы знаем какое покаяние бывает у людей неправославных, не признающих пост. Они никогда не обновляются. Они не могут остановить свой грех возлюбленный. Потому, что именно само покаяние без воздержания не может приноситься Богу. Всякое раскаяние, всякий акт покаяния он непременно связан с воздержанием. На минуточку представь себе: ты будешь наедаться досыта и будешь пытаться нудить себя, чтобы каяться. У тебя выйдет что-нибудь? Никогда не выйдет! Ты еще больше впадешь в грех, потому что тут бесы будут тебя нудить от себяжаления: „Пожалей себя, зачем это нужно! иди закуси, подкрепи свои силы, полежи, отдохни!“

Ведь бесы не позволят каяться, и ты их послушаешь от себяжаления.

Вопрос. А может бес через людей препятствовать покаянию? Только человек решит покаяться, начать воздержание, наложить на себя пост, как вдруг со всех сторон слышит: пойдй отдохни, что-то ты запостился, побереги свое здоровье, ведь нужны силы и т. д.

Ответ. А потому что он по гордости своей говорит себе: „Я буду каяться, я буду исправляться”. Вот это окаянное, проклятое „я” — гордость — как раз и мешает ему.

Вопрос. И он не выдерживает этого натиска?

Ответ. Ну, конечно. А смирение начинает совершенно иначе: „Господи, помоги!” Он начинает с молитвы, да? Выпрашивая помощи и ненависти ко греху. Пока эта ненависть и раскаивание, выпрашивание „прости и помоги!” „даждь!” — это перевернет любого преступника. У меня в моей пастырской практике были блудницы, закоренелые блудницы, которые не могли себе представить, как они могут обойтись без любимой страсти, без любимого удовольствия. Но, мучимые совестью, и все-таки веруя, по милости Божией, приходили ко мне. И вот, приходили, сначала насильно заставляли себя, а потом постепенно привыкали ко мне и очень часто приходили, и через год или меньше они совершенно оставляли эту любимую страсть. И с страшной ненавистью и слезами вспоминали то, что было. Не факты, а что с ними вообще это было. И одна из таких особ сейчас монахиня, и большая монахиня. И никто бы не подумал, если он знал бы, кто она такая была. Потому что покаяние, оно не только лечит, оно обновляет человека. И вот, бес клевет

щет, внушает, что тебе никогда не отстать. Это бесовское внушение!

У меня был большой вор. Он не мог не воровать. И покаянием он стал чистым человеком. Он вернул все, что он украл, и покаялся. И вот это есть доказательство, что можно искренно каяться, да? Сейчас он счастливый человек... Он никогда не вспоминает, что было, потому что эта ненависть вылечила его от боязни, что Бог ему не простил. Господь ему все простил с того момента, как он возненавидел это желание взять чужое. Ну, конечно, он очень долго боролся, очень часто у меня бывал, в любое время, днем и ночью. И, конечно, бесы его донимали: он меня возненавидел, клеветал на меня, но слушался. Он выполнял так, как я от него требовал, то есть сначала он молился и возвращал то, что взял...

Каждый имеет свое призвание

...Я помню, мне было тяжело, но все-таки я никогда не был одинок, потому что всегда мне сопутствовала сила веры и все то, что я воспринял от отцов, моих воспитателей, то есть молитвенное делание...

Я был всегда один, с собой. У меня закладка была очень большая, милостью Божией: именно возможность уходить глубоко в самого себя, в совесть свою, и знать только себя; в таком положении ни на кого, ни на какой подсказ не надеяться, а только на проявление воли Божией... „имиже веси судьбами покажи”. И бывает... было показано. А у вас иначе: Бог вам дал духовника, потому что у вас закладка была другая сначала, вы пришли к Богу совсем другим путем.

Вы представляете себе: 12-летним мальчиком, я, милостию Божией, познал Господа и Православие, совершенно одинокий, брошенный, один... Эдька!!! должен был противостоять отцу, матери, сестре, брату и родственникам, да? И так уйти в себя, и так молиться, чтобы не поколебаться никак, и биться с ними и против них, чтобы быть именно таким, каким мне нужно было быть по духу! Вот это именно привело меня к тому, что я узнал монашество 12-летним ребенком. Я тогда ребенком знал, что люди мне не подскажут. Это мне подскажет Сам Бог, каким-нибудь путем. Так оно и было! И когда я убедился, уверился, что Православие есть единственная истина на земле, единственное благодатное общество, сохранившееся от катакомб, от Господа, от Святых Апостолов — мне ничего не было нужно! Этому я подчинил все! Это был смысл моей жизни. То есть вечная вечность и путь спасения — через Православную Церковь! Значит Православие и быть в Православии, то есть быть в ограде Церкви — и я обеспечен своим спасением, если сохраню Законы Христа и учение Православной Церкви, так? А помощь мне — отцы Церкви, учителя Церкви, пастыри, но не друзья, друзья мне будут только мешать, расхолаживать и отнимать время. Монашество есть моно: один, быть в самом себе, всегда один, так? Не потому, что я не доверяю, нет! Я всем верю, всем доверяю, но я сам с собой! Сам в себе. Поэтому вот эта детская Иисусова — „помилуй меня” — она осталась в силе и когда я очутился в тюрьме. Мне не было страшно... 1919 год, декабрь, и мне не было страшно: я был не один. Кто-то был со мной, какая-то сила, какой-то луч радости... Меня поставили к стенке, а я — спокоен. Значит так

нужно, потому что Он смотрит на меня, Он видит меня, Он попустил этому быть, значит так нужно! Ведь я родился не для гибели, а для вечного спасения.

А когда я был в монастыре св. Саввы Крипетского... Поразительное озарение счастья, знаете чем? „Иже на всякое время, и на всякий час, на небеси и на земли покланяемый и славимый Христе Боже”!!! Это первая молитва, которую я изучил. Я ее читал по 100 раз. Не „Отче наш”, не „Святой Боже”, а „Иже на всякое время и на всякий час”. А потом: „Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой, Троице Святая, слава Тебе”. Иоанникия Великого. Поразительная молитва. Не наесться ею! Я помню: я ходил по полям ржи, на три сажени вышины, мальчиком, и читал ее. А Евангельский текст (Мф. 11, 27): „Вся Мне предана суть Отцем Моим; и никтоже знает Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын и емуже аще волит Сын открыть” – меня так поразило! Это есть все!!!

А Божию Матерь я узнал позже. И потом это: „Сподоби Господи”! „Сподоби Господи, вечер сей без греха сохранится нам!” Я помню я ходил по лесу мальчиком и читал эту поразительную молитву „Сподоби, Господи”. Она пелась во мне, я славянский язык не понимал, потому что мне очень трудно было понимать, но я ухватил эти молитвы с клироса. Я ходил на каждую службу, православную службу, тайком от родителей. Страшно любил! Ради этих молитв я ходил в церковь! Литургия для меня была непонятна! Это влечение сердца, призвание сердца, да? Вот, посмотрите, что вас поразило, каждый по-своему устроен, каждый по-своему

был и бывает призван для спасения, своим самостоятельным путем!

Бывают люди, которые каясь в преступлениях своих, делаются замечательными рабами Христа. От страха! Боясь возмездия. „Господи, не накажи меня. Я Тебе обещаю все, что... Ты только можешь... Только не накажи” – это бывает началом обращения человека к Богу, когда он так настойчиво, упрямо молится от страха и ужаса, он знает и чувствует, что закон возмездия над ним, это неминуемо будет! Даже на земле, здесь! Он весь потрясенный кричит: „Помилуй меня!!! Накажи здесь, только не там!!!” Это уже будет 2-я ступень, да? А потом приучает себя к этой молитве „Помилуй меня” в разных видах, Иисусовой и т. д. и приходит к таким подвигам покаяния, что удивляться можно.

Вот иеросхимонах Серафим, затворник. Он пришел к покаянию таким образом. Он увидел свою нечистую жизнь, свое безумие. В одну ночь он обратился к Богу! Пошел к митрополиту Антонию Ватковскому в Санкт-Петербург и выпросил у него пострижение в схиму. И его заперли, и заложили его кирпичами и оставили только окошечко внизу, чтобы ему давать воду, а сверху окошечко, чтобы давать ему пищу. Так он 28 (?) лет и просидел в затворе. И уже на 4-й год затвора стал прозорливым старцем. Он исповедовал людей через две двери, не видя лица и не зная имени... на 4-й год покаяния... А потом он стал гонять бесов, гонять бесов по ночам из келии, которые заходили и искушали его. Он их видел, как мы видим кошку или собаку, мышь. Он их выгонял и наказывал. Он имел право бить, топить в кипятке и загонять их в рукомойник, загонять их в стакан чая. Они пищали, визжали и

кричали, а келейники слышали, что он гоняет демонов. А окошечко ведь закрыто, мы же не видим. А он: „Кошек и собак вы мне напустили”. Он гнал, он командовал. Затем он наложил на себя обет молчания. Когда его бесы... его страшно искушали, то он плакал, он ночами страшно плакал. Как же поступить? Иногда он забывал свое обещание молчать и читал молитвы вслух. И, конечно, келейники знали: он молится громко, потому что бесы его донимают. Тоже своеобразное обращение к Богу.

А другой находит путь к Богу — исповедничество. Покойная Дуся. Она в школьном возрасте имела особенную любовь исповедовать Господа в школе. Выходила на поединок с педагогами и своими одноклассниками. Была особенная потребность грубить, дерзить, когда они проявляли неуважение к Богу. Она выходила на поединок. Ей доставляло удовольствие ругаться, когда ей предлагали быть неверующей, комсомолкой и т. д. Это ее все возвышало и возвышало. И любовь к Богу кончилась монашеством! Опять особый путь! Не буду говорить, какая была. Особой жизни... делом и какого особенного ума. Как она любила авву Дорофея, как она любила Лествицу. Она знала наизусть, она цитировала его совершенно свободно. Она мыслила Лествицей! Поэтому ее Бог убрал из этого мрачного мира...

О Литургии

Во время совершения Литургии на земле, в Храме, Литургия совершается и на небе. И это было показано некоему человеку в монастыре.

У него было послушание метлой убирать притвор Собора. Молодой монах метлой убирал от Святых врат до Церкви и в это время шла Литургия. Он про себя как-то молился, как он умел, в простоте своего сердца и как-то загляделся на небо и видел отверстое небо и Престол. Вокруг Престола стояло по три Архиерея на коленях, а предстоятель был один архиерей и был единый хор неизреченной красоты, и была вся Литургия, и святители служили на небе. Святители вроде Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия, Кирилла — Вселенских. И он так стоял больше получаса. Он оцепенел. Когда Литургия кончилась, и люди вышли из Церкви, они увидели стоящего этого монаха. Метелка у него упала из рук, он оцепенел, весь мокрый от слез, буквально мокрый. Его под руки остороженько взяли и повели его, ничего не спрашивая, в келию, и он стоял там еще несколько часов обезумевший, а потом пришел духовник, когда он успокоился, и велел пойти к игумену. И в присутствии игумена он рассказал все, что он видел.

Вот почему вы должны не удивляться и я требую, чтобы во время Литургии вы были трезвенные, не занимались ни кухней, ничем. Если вы вне церкви, то сидите на месте, молитесь. Евангелие читайте. Акафист Спасителю Сладчайшему, читайте Акафист Святой Троице, будьте заняты!!! В 10 начинайте, в половине 12-го кончайте. В это время Святейший кончает обедню. Он причащается обычно в 20 минут 12-го. Он 10 минут причащается, потом начинает причащать сослужащих священников и диаконов, и так приблизительно 35 минут 12-го он отходит к себе на свое место и ему подадут заливку, и он чи-

тает благодарственные молитвы. Сначала он читает благодарственные и старший протоиерей стоит и ждет, пока он кончит. Он очень не любит, когда ему мешают. Свят. Патриарх Алексий читал очень долго, почти 10 минут благодарственные молитвы. Он читал, перечитывал, опять читал. Он был большой молитвенник, большой молитвенник! Когда он насытится, тогда рукой покажет, что можно книжку убрать и может отойти книгодержец. Протоиерей подходит, дает ему запить. Он пригубит, немножко пополощет рот, малюсенький кусочек отщипнет Антидора и успокоится, а потом подходит к нему духовенство. Но он так... очень мирный, всегда улыбающийся, в общем опять сошел на землю на земле ногами стоит...

/.../ Эти часы надо просто святить и ничем не заниматься, ни в коем случае не тарыхтеть на кухне, не заниматься ни глажением, ничем! В воскресные дни и большие праздники. В двенадцатые праздники обязательно! В Богородичные праздники и Господские праздники, великих Угодников Божиих, Архистратига Михаила, конечно, своего Ангела Хранителя, имя которого мы носим, — это обязательно. Если мы не будем этого простейшего соблюдать, то мы лишаемся страха Божия, а потеряв страх Божий — мы чурки, мы уподобляемся язычнику и мытарю — безбожнику. Мы настолько опустошаемся, что мы бываем подобны мытарю и язычнику.

Некий иеромонах совершал Литургию и во время пения „Твоя от Твоих” огонь вырвался из Чаши, не сошел, а вырвался! Это в наше время, гнилое, безбожное время! Обыкновенный иеромонах.

Вопрос. Хотя мы и не видим, но и сейчас на каждой Литургии сходит огонь?

Ответ. А то как же! Нашими телесными глазами мы лишены способности это видеть. Неполезно видеть, мы гордые, тщеславые, славолюбивые. И нам вредно видеть это. Также и бесов не всем показано видеть, потому что лично ему бывает это бесполезно, он может духовно возгордиться. Не потому, что он станет убежденно верующим, это да, но он возгордится. А духовный самоцен пожирает веру...

/.../ Интересный, и сложный, и болезненный вопрос: участие в Богослужении всякого человека, мирянина, не священника. Обычно, как вы участвуете: не следуете каждому слову из того, что поют и читают, а больше участвуете чувственным своим состоянием. Вот почему вы очень редко получаете утешение и обновление от Богослужения. Прежде всего надо позаботиться о мирности, да? В немирном состоянии прийти в Церковь и получить какую-то радость — невозможно. Во-вторых, требуется участие, постоянное следование каждому слову, которое поется и читается. При этом внимании нельзя предаваться чувственному состоянию; надо стараться избегать чувственности и спесивой взвинченности, чтобы понимать каждое слово. Но не терять нити Богопредстояния. Нить Богопредстояния может быть только умная, молитвенная, без участия чувств. Чувственное Богопредстояние — это уже не православное! Вот почему и пение наше партесное очень часто калечит и мешает нам молиться, да? И вводит в нас элемент чувственности...

Значит, надо прежде всего позаботиться о том, чтобы эта молитва была „в нас” и включалась бы в Богослужбное чтение и пение. Если ее в нас нет, то мы не можем никак включиться. Вот поче-

му часто рекомендуется входить в храм, переступая порог, непременно занимаясь Иисусовой молитвой. И при состоянии надоедания Иисусовой, включиться в участие чтения и пения, в Богослужение. Строго соблюдая правило: всякое чувственное участие выключать из себя, оно будет не православное. Вот почему вы часто слышали о том, что рекомендуется общенародное пение, оно не так пробуждает чувственное восприятие службы, как партесное пение. Почему простой народ, не понимающий партесную музыку и классическую музыку — молится, а так называемая интеллигенция, любящая классическую музыку или вообще классическое пение, молится чувственно, не получая при этом никакого утешения. Вся суть нашего участия в Богослужении заключается только в том, чтобы непременно включать себя в понимание каждого слова молитвенного чтения и пения. Умно молясь...

Надо обучать себя молиться. Не читать, а молиться. Это большая разница. Молиться разговорной речью. Не допускать ни в коем случае механического чтения молитв. Это достается только большой, постоянной, назойливой, настойчивой работой над собой и выпрашивания: „научи меня молиться, я молиться не умею”. Этот вопль, этот стон надо годами носить. Господь посетит! Неожиданно придет такое наитие. Откроется ум и откроется вот этот секрет: как молиться, что такое молиться. Этот секрет открывается иногда неожиданно на Литургии, когда причащаемся Святых Христовых Таин, или у себя дома. Открывается какой-то ум после продолжительного настойчивого вопля: „Научи молиться, я молиться не умею. Не умею молиться,

умею только читать”. А когда нам Господь покажет, что такое молиться и как молиться, вот тут надо беречь себя от смертных грехов и от небрежности... молиться, чтоб Господь не отнял этот дар, это, так сказать, наитие, это освящение сердца и ума.

Я знал одного иерея, который не мог никак научиться. И он как-то, причащаясь Святых Христовых Таин, взял Пречистое Тело Господне левой десницей на правую, как обычно полагается, и стал читать „Верую, Господи, и исповедую”, как обычно, да? Когда он кончил, он стал, обливаясь слезами, просить: „научи меня молиться, я молиться не умею, я только читаю молитвы, а молиться совершенно не умею”. Его озарил какой-то невидимый свет, как он рассказывает, и открылся какой-то второй ум. И он стал читать второй раз „Верую, Господи, и исповедую”, не отрываясь. Диакон заметил, что он никак не может оторваться от Тела Господня, он тихонько подошел и говорит: „Батюшка, пора! Люди ждут!” Кончили петь концерт и ведь — пауза. И ему надо причащаться, а он причащаться все никак не может собраться... продолжать причащаться. Он оцепенел от того, что он понял, что такое молиться... Он как бы ожил, вышел из какой-то дивной спячки... Он без конца плакал... Не мог наглядеться на Пречистое Тело Господне...

О митрополите Вениамине

Митрополит Вениамин, священикомученик, расстрелянный, фамилия Казанцев, совершал Литургию, и сошел огонь в Чашу. Мы все видели. Это было, видимо, нам показано, чтобы мы знали, что это

не простой митрополит был... Огромный пучок огня... над Чашей, — и в Чашу! Благодать! Да! Но не все видели, кому было не открыто, потому что по жизни не всем бывает так это. Кому открываются особые глаза, а кому остаются глаза человеческие, такие, как у нас. И предстоящие служащие архимандриты и игумены — не все видели, только... видели... шум, слышали шум и решили, что был сквозняк в алтаре. На самом деле никаких сквозняков не было. Как накануне — в день моего пострига — Владыка ехал... Вениамин из Лавры на извозчике. Он ехал на извозчике, тогда такси не было, машин не было. А я шел из Казанского собора пешком, с Московского вокзала в Лавру... И у него вместо бриллиантового креста — красный крест.

Вопрос. А почему, батюшка, красный?

Ответ. Мученик. Накануне расстрела!

В день ареста, как он бегал, быстро ходил по этим дорожкам Лавры! И в августе месяце — красные пасхальные четки. Я думаю: нет, здесь что-то неладно! Так оно и было...

Он имел замечательную привычку прочитывать благодарственные молитвы по 3—4 раза. И не запьет, пока не прочитает. А книгодержец, он никак не мог: что это Владыка читает и читает, читает и читает и опять перечитывает... Он никогда без обедни не начинал свой день, никогда. К ранней! В 6 часов Владыка на своем месте!

Вопрос. А во сколько он ложился?

Ответ. Ночью. Да ведь страшно много дел! Он знал весь секрет делания, благополучного делания: право править паствой — это молиться, и особенно много молиться Божией Матерью по ночам. Поэтому у него всегда все горело в келии. Большая келия,

койка была и много икон, свечи, никаких люстр, ничего. Он обыкновенно в подряснике, пояском таким из веревки какой-то подвязан, длинные волосы, такая борода огромная, лопатой. И всегда радостный, всегда сияющий — это первый признак, что он примирен с Небом. А кто с Небом немирствует — тот хмурый, унывающий, смущенный. Вот эта дивная радостная улыбка на этих людях — она всегда доказывала, что он в Бозе или о Бозе...

Владыка Вениамин был расстрелян пулей восьмой. Пули не брали его. „Батя, помолись!” Когда он благословил: „Благословен Бог наш...” — снова зарядили, и он был убит...

О Причастии

Владыка Стефан совершал Литургию, в Крестовой Церкви, в Александро-Невской Лавре. Я был иеродиаконем. Я вынес Чашу. Владыка прочел „Верую, Господи, и исповедую”, открыл покровец и обомлел — Мясо Человеческое в Крови. Тогда он обращается ко мне: „Виждь, отче!” Что делать? Он повернулся через левое плечо, а я через правое с Чашей, поставил на Престол, и стал он молиться, чтобы Господь сотворил милость: как же мы будем раздавать Мясо Человеческое, да? Кто возьмет?.. И молился он минут 15 с воздетыми руками. Потом посмотрел — и опять сотворилось вид Хлеба. Тогда вышел и причастил людей. И этот случай знали м-т Гурий (почивший), Лев (почивший священномученик, он погиб в шахтах в Караганде) и, кажется, преподобномученик Варсонофий, мой любимец... Это показано было нам, чтобы мы уверились, а

мне было показано в утешение; я абсолютно тогда исповедовал и верил, что воистину подлинное Тело и Кровь, но, чтобы утвердиться, может быть, и людям рассказать, и это записать, чтобы людям была бы польза и счастье, — вот и было показано. А потом, конечно, во смирение нам, потому что мы, как бы ни готовились Литургисать, а все-таки должны сознавать свое абсолютное недостоинство...

КОНЧИНА БАТЮШКИ

В течение двух последних недель Батюшка ежедневно с жадностью исповедовался и каждый день причащался.

Незадолго до кончины посетил его архиерей.

К 10 часам утра 24 августа состояние Батюшки резко ухудшилось, к 13 часам стало совсем плохо, он затребовал „скорую“.

Когда врачи „скорой“ прибыли, они тут уже сами вызвали „скорую“-реанимационную: у Батюшки уже был отек легких.

Врач реанимационной „скорой“ объявил, что состояние безнадежное. Батюшка уже не говорил, а только кивком головы выражал свое согласие или отказ.

Мы предложили ожидавшему о. /.../ подготовить Батюшку. При врачах он стал читать акафист Божией Матери. После прочтения акафиста Батюшке предложили причаститься. В ответ он отрицательно покачал головой, и кто-то из присутствующих, поняв, что Батюшка отказывается, так как считает себя неготовым, стал говорить, что нужно и можно причаститься по чину болящего, и Батюшка согла-

сился. При таком тяжелом состоянии, он неспешно проглотил Святое Причастие и глаза его оживились. Когда же священник поднес Крест, Батюшка сделал усилие рукой и губами и поцеловал Крест. Священник тут же стал читать канон на исход души. В левую руку дали Батюшке зажженную свечу, в правую постригальный крест.

На восьмой песне канона Батюшка три раза раздельно вздохнул и совершенно успокоился.

Священник дочитал канон. И убедившись, что Батюшка отошел, сняли с кровати тело и положили на пол, по завещанию самого Батюшки. Это было в 16 часов 20 минут.

Священник надел на Батюшку срачицу под простыней, не обнажая, и тело подняли на стол. Была отслужена первая панихида.

К 8 часам вечера прибыли из Загорска иеромонах и иеродиакон и облачили Батюшку. По облачении была совершена панихида.

В 24 часа прибывшим иереем была совершена третья панихида, и в 6 часов утра — другим прибывшим иереем — еще одна панихида. Перед выносом в Церковь опять отслужили панихиду.

Желание Батюшки было — удостоиться христианской кончины, и он удостоился этой чести.

ВОСПОМИНАНИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА.
РАССКАЗЫ

З. П. Пестова

ПОЕЗДКА В САРОВ

Лето 1915 года

ОБ АВТОРЕ И О ТЕКСТЕ

Автор мемуаров Зоя Вениаминовна Пестова родилась в Угличе в 1900 г. в семье врачей Вениамина Федоровича и Марии Александровны Бездетновых. Отец „сирота с двух лет, воспитывался в пансионе”, удалось окончить Университет; получил дворянство по образовательному цензу. Семья жила в достатке, занимая второй этаж двухэтажного особняка, расположенного на главной улице Углича (в доме сейчас городская гостиница). Старшая сестра Раиса Вениаминовна (р. 1898 г.) воспитывалась в Институте Благородных девиц и была далека от семейной атмосферы; младший Коля рос дома (Николай Вениаминович Гаев, р. 1902 г. — ум. 1971 г., артист большого театра).

Зоя Вениаминовна приехала в Москву в конце (август—сентябрь) 1917 г. с целью получить высшее образование, на ее попечении был младший брат. Жили на Таганке у тетки, которая держала богадельню недалеко от церкви Мартына Исповедника (ныне по ул. Большая Коммунистическая). Некоторое время З. В. работает курьером на

Найдено в Самиздате. Автор вступления и примечаний неизвестен. Печатается с некоторыми сокращениями.

Лубянке. Поступает в МВТУ (Московское Высшее Техническое Училище им. Баумана), живет в ту пору в общежитии. Принимает активное участие в жизни Московского Христианского Студенческого Кружка, становится „правой рукой” Марцинковского, который осторожно упоминает ее в своих „Воспоминаниях”, как девушку, самоотверженно носившую ему передачи в тюрьму. Кружок собирался до 1924 г. на квартирах и в здании Политехнического Музея (после смерти Ленина прекратил свое существование из-за усилившегося со стороны власти давления). Здесь, на одном из собраний, в 1922 г. З. В. знакомится с будущим мужем Николаем Евграфовичем Пестовым (р. 1892 г.), впоследствии известным ученым-химиком. 11 мая 1923 г. в храме Вознесения в Гороховском переулке состоялось венчание.

Оба супруга – духовные чада о. Сергия Мечева. Н. Е. был старостой храма Св. Николая в Кленниках (на Маросейке) до последних дней его существования, когда храм был насильственно закрыт. Супруги Пестовы постоянно оказывали помощь гонимым братьям и сестрам, укрывали у себя преследуемых, отправляли посылки в места ссылки. В их квартире (ул. Карла Маркса, 20) происходили молитвенные собрания уцелевшего от репрессий остатка мечевской общины, в одной из комнат был престол и совершалась Литургия.

В 1931 году З. В. арестовали по подозрению в „сотрудничестве с заграницей”. Арестована на том основании, что няня ее детей была русской немкой, принимавшей участие в движении немцев за возвращение на историческую родину (ее родной брат возглавлял движение), вместе с группой соплеменников была задержана при нелегальном переходе границы. Все участники перехода сосланы в Сибирь. Через полгода З. В. была освобождена (уже в Ульяновске).

В 1943 г. старший сын, девятнадцатилетний Николай, офицер, убит во втором своем бою, под Смоленском.

Умерла З. В. 15 ноября 1973 года в 3 часа дня от разрыва сердца. Похоронена в селе Гребнево под Москвой.

Воспоминания написаны, вероятно, в 1965 году в несколько дней и посвящены дочери и внучке (Соколовым).

Колебание от веры к неверию, которое, как тать ночью, неожиданно нагрянуло и обворовало вчистую и дом и нерадивого хозяина... И от ужаса разбойничьей ночи не-

верия, ограбленности и разбитости – выход к свету, робкий стук в дверь Отчего дома.

Таков смысловой образ событий, описанных в воспоминаниях.

Драгоценны картины провинциальной России перед надвинувшейся уже катастрофой. В них, как в очищающей глубине колодца, проступают главные линии исторического бытия народа: Евангелие и Церковность. (Недаром в одной из кульминационных сцен описываемого героя видят на дне колодца – икону.)

Девушку мучает атмосфера безрелигиозной семьи. Незамутненной совестью она тянется к религии, в которой находит, охраненным и взращиваемым, зерно добра, близкого природе всякого детства. Она хочет верить и верит, но сумеречный час надвинувшегося мирового равнодушия задел и смущает ее.

Собственно, окружающих ее близких нельзя было назвать неверующими; последняя частица Святыни еще не покинула их, в минуты боли и сострадания еще молится отец о своем дитяти... Почему отец не принимал Церковь? Для этого есть много объяснений среди бытовавших тогда воззрений, взглядов. Но видно, что „предъявляя счет” к Церкви, он восстает на Христа и не хочет знать, – ради низменной выгоды бунта, – против Кого выступает.

Отняты дары отцов, нельзя спрятаться в чувства и удовольствия, зло подступило всеобъемлюще и охватило все существо: разрушена жизнь дома, преданы дорогие его обитатели. Раскаяние пришло на пепелище, хватило сил довериться сердцу и тому в нем родному, что держало в прошлом и могло спасти в будущем.

Этот процесс, происходящий с конкретной личностью, происходил и в народе. Народ также колебался „на грани”, соблазняемый страстными поисками своего во что бы то ни стало; удаляющийся от сени Церковной, он, вместе с тем, рядом с храмом, входит в притвор и молится молитвой мытаря. Таковы русские крестьяне, едущие с фронта, идущие к преподобному Серафиму.

На грани отчаяния и автор мемуаров... Паломничество в Саров к старцу было тем решающим впечатлением, которое дало силы жить и верить (есть собрат в пути!). Вера дочери помогла родителям: так пример одной семьи, в

рамках одной человеческой жизни, вырастает до символа общего развития.

Ценна рукопись не столько историческими картинками (хотя и ими, несомненно) сколько описанием цельного, уже пережитого, законченного, пусть в одной семье, опыта. Наши отцы ошиблись, произошла расплата, но перед нами не назидание, а дар предков, какие бы они ни были, это дар очищенного, выстраданного видения. Правильное свободное общество не дошло до нас в историческом развитии, но икона его нам дана в опыте народа, опыте, который есть и предложен нам.

+

*„Любящим Бога все
свидетельствует ко благу!”*

*Записки эти завещаю
дочери Наташе и внучке Кате.*

...Мне было 16 лет, когда я решила, что мне необходимо ехать в Саров, побывать у старца и определить свой дальнейший жизненный путь. Через полтора года я должна была кончить гимназию. Отец, а особенно мама, внушали, что необходимо учиться дальше и получить высшее образование, чтобы быть самостоятельной, ни от кого не зависимой и богатой душой и карманом. Но куда идти учиться? По всем предметам 5, я первая ученица в классе, а особого таланта нет. „Специальность — как брак, — говорит папа, — сама выбирай, чтобы потом ни на кого не пенять. Жизненные ошибки даром не проходят”.

Отец был доктором, и на эту специальность идти он не советовал. „Мне жаль твоей душевной чистоты: ведь медики все развратники... Да при твоём слабом здоровье, да жалостливом сердце ты каждого покойника будешь оплакивать! Добрые

дела делать можно везде, надо крепкие нервы иметь, а ты людей жалеешь!...”

Отец меня очень любил, знал, понимал, поддерживал во мне все хорошие начинания, давая денег на бедных и выполняя мои просьбы кого-либо посетить из больных или положить в больницу. Я „обожала” отца, прощая ему все, — все его ошибки, заблуждения. Так могут любить только дети — все прощать! С мамой я была далека, но ее самостоятельность (у нее был зубной кабинет), ее независимость мне нравились. В те годы (начала XX столетия) „свободолюбивые женщины” уже входили в моду.

Отец с матерью были в фактическом разводе, но семья еще как-то сохранялась. Связующим звеном были дети и невозможность развода. Отец явно тяготился семьей и ждал, чтобы поскорее подросли дети. Ждали и революции. Шла 1-я мировая война (1914—18 гг.) Надвигались политические события, общество было „за” и „против”, и мы, гимназистки, уже „судили и рядили” о войне и событиях в стране.

В 15 лет я *хотела быть* убежденной православной христианкой. Это шло вразрез с мировоззрением моих родителей и окружающего меня общества, интеллигенции захолустного города. Тогда в 1915 году верующими считались все, но я не помню ни одной семьи, где было бы Евангелие как основа жизни. Семейными неприятностями я была измучена и только в храме соседнего женского монастыря перед иконой преп. Серафима Саровского находила утешение в моей недетской скорби. Никто так не страдает от ссор родителей, как дети!

„Сдвинуть” меня с Евангелия было уже нельзя. Родители были недовольны моим „увлечением” религиозными вопросами, чтением книг, моей

подругой из семьи священника, и каждый из них старался „образумить” меня. Страшно вспоминать антирелигиозные высказывания, которые мне надо было слушать и после которых я убежала в церковь, скорее очиститься — исповедоваться и приобщиться св. Таинств. „О чем Вы плачете?” — спросит меня бабушка о. Алексей на исповеди. „Ссорюсь с родными”. Не могла я на исповеди жаловаться и рассказывать семейные сцены, возмущавшие всю мою душу. Я не могла разобраться, кто виноват из родителей. В семье не было ни мира, ни любви, нас — детей — не берегли от сцен, от брани, от слез и скандалов. Сестра воспитывалась в институте, а я и брат (на 2 года младше меня) не знали покоя в семье.

Часто отец мне напоминал, что когда мне было 3 года, я болела скарлатиной и надежды на выздоровление не было. Папа пошел ко всеобщей 6 дек. (19 нов. ст.) на день св. Николая и, встав перед иконой, плакал навзрыд, вымаливая мне жизнь. „Если бы ты только видела как я просил Николая Угодника оставить мне тебя!” — говорил отец и всегда со слезами. В комнате в спальне у отца висела икона, но я не видала отца молящимся. Но бывало он посылал меня подать „за упокой” своих родных, давал мне на свечи и на нищих, прислушивался к снам, принимал „со святом” приходского священника, в пост 1, 4 и 7 неделю не было мясных блюд, — так что назвать моего отца неверующим нельзя...

/.../ Он боялся за меня, а вдруг я уйду в монастырь, а вдруг сойду с ума. Он умолял не поститься, не ходить на раннюю обедню, больше есть и спать, беречь нервы и как-то совсем не сознавал, как я страдала от его насмешек и всяких обидных слов над тем, что было мне свято.

Семья жила зажиточно, и мне отец давал деньги на наряды, на театр, кино и на бедных. Я сама не была аскеткой и ходила на спектакли, в кино возвращаясь с тревогой домой: „что там делается?“

Свою маму в эти годы я не любила. Истерзанная семейным разладом, она была очень нервная. Ее отношение к религии было внешнее: она и обряды выполняла, и лампадки зажигала, и заказывала икону „семейную“, и оклады на образа... Ах, как хотелось ей любви отца, какая она была бы семьянинка и хозяйка... Как она заботилась об отце и об нас! С годами она стала болеть и характер ее и поступки граничили с характером душевнобольной и глубоко несчастной женщины. Она была красивая, энергичная и очень дельная, любила свое дело и хорошо зарабатывала, имея зубоврачебный кабинет, но болезнь ее подкашивала. „Каждая несчастная семья несчастна по-своему“ и детям тяжелее всего!

„И бесы веруют и... трепещут“. Мама, мама жила по своей воле, так далеко от религии и церкви.

/.../ В 15 лет я прочла „Братья Карамазовы“. Образ Алеши поразил меня. Я решила, что найду такого Алешу в жизни. „Великий Инквизитор“ меня потрясал, и я верила, что так будет. Я поняла, что свобода не во внешней жизни, а в духе и уже не интересовалась героями-революционерами, которыми восхищался отец: Гершуни, Фигнер, Засулич, Желябов для меня были безумными и преступниками. А вот старец Зосима... Найти такого в Сарове стало моей мечтой. Вот у кого надо спросить о жизненном пути!

В гимназии преподавал Закон Божий отец Николай. Это был добрейший учитель. Он часто со мной

беседовал, давал мне читать Иоанна Златоуста. Но в 14—15 лет по силам ли такое чтение? Ходил он в темнозеленой рясе, золотой крест украшал грудь. Его каштановые локоны так шли к его ласковым голубым глазам. Он стал для меня примером кротости и всепрощения, когда в 30-м году я узнала, что он сослан в Сибирь и там спасается.

В классе я была любимицей и очень этим была довольна, стараясь всем двоечницам помогать и „вытаскивать” к ответу. Я дружила с лучшими ученицами, но особенно мне нравились „особенные”, я их искала, старалась узнать, чем живет их душа. Вот Шура — высокая белокурая девочка. Она точно светится вся! Еще бы! У нее отец священник. Отец Михаил из деревни Тимохово, популярный и друг о. Иоанна Кронштадтского*. Шура танцует? Да, отец ей сказал, что можно в 15—16 лет. „Всякому овощу свое время”. Это не грех. Мы юны и молоды. Надо „духовно” дорасти, чтобы самой не хотелось танцевать. И я танцую с Шурой па-де-спань на школьном балу. (Год-два и Шура умерла от чахотки.)

Все девочки были номинально верующие. Соблюдение постов, пожалуй, было самое главное. Евангелия сам никто не имел и не читал. Мечтали выйти замуж за богатого купца и выходили в 16 лет. Участь большинства была одна, — идти в сельские учительницы и провести жизнь в глуши и тоске, в бедности и одиночестве. Хотели бы „учиться дальше”, ехать в Москву или Питер, но плата за учебу, жизнь дорогая... да и война шла и надвигалась революция. Я мечтала учиться дальше, но кем

* Отец Михаил Зеленецкий погиб в лагерях.

быть? И мать и отец в этом меня поддерживали, отец обещал помогать... но ведь и семья без меня распадется... „Скорее бы!“ — мечтал отец. „В Сарове я разрешу этот вопрос“ — мечтала я и просила родителей отпустить меня.

МОНАСТЫРЬ

*Наблюдай за непорочным
и смотри на праведного.
Пс. 36, 37*

Я часто ходила в монастырь ко всенощной и к обедне и приобрела там друзей — монахинь, которые наперебой приглашали меня к себе после обедни „попить чайку“ и побеседовать о духовном. Одна из старших монахинь очень меня любила. Звали ее матушка Еванфия, лет 50-ти. Она жила в монастыре с 17 лет, отказавшись выйти замуж и полюбив всего более „Небесного Жениха — Христа“. Наш монастырь на 600 человек имел свое хозяйство, поля и луга, скотный двор и огороды. Все работы несли молодые, даром — „по послушанию“. „Послушание выше поста и молитвы“ — это было правилом монастыря.

Молодые монахини жили при старых в одной келье. Матушка прожила так 30 лет с одной монахиней, как с матерью.

„Не ссорились?“ — спрошу я.

„Было, было и недовольство, но надо было научиться смирению, терпению и кротости — это тоже большая наука. Но любящим Бога все ко благу:

поплачешь, помолишься да и бух в ноги. Простите! И опять мир”.

„Да у нас в миру этого нет и быть не может” — ответу я, вспоминая свои ссоры с родной матерью.

„А хотелось бы Вам в мир?”

„Нет, никогда, как с радостью приняла пострижение. Вот из дома приедут родные, да порасскажут про свое мирское житие, — сколько там зла, скорбей, неправды, шума и ссор, а здесь в монастыре-то у нас мир, благодать и любовь, и спасение души для вечной жизни”.

„Все тлен, — любила повторять матушка Еванфия, — а душа вечна и пойдет на Суд Божий, как прожита жизнь? Что ответишь, если душу свою погубишь?”

Теперь в старости у нее было одно послушание, — она была привратницей, жила в келье у ворот, никуда не отлучалась и ключи от ворот носила с собой — это были большие два ключа. На службы в церковь ее отпускала ее „напарница”, молодая хромая монахиня, помогающая во всем матушке. Все монахини свое „послушание” ревниво берегли и выполняли. Монахини все были прекрасные рукодельницы и охотно научили меня всяким своим рукоделиям. Делали они даром для всяких благотворительных лотерей изящные вещицы. Пяльцы, вязание, вышивание золотом и шелком были их трудом. Брала и заказы, так как не ущемлялось желание заработать, лишь бы „послушание было сделано”. Безделие считалось грехом, но, конечно, в праздники не работали.

„А мне бы какое дали послушание?” — спрошу я.

„Если голос есть, в певчие, на клирос”.

„Нет у меня голоса, всегда кашляю”.

„Посох у игуменьи носить бы стала, или в канцелярию, или в рукодельную, в иконописную”.

Вздыхнула я: „Это на всю жизнь?!”

„Да, надо твердо решить, чтобы и себя и монастырь не осрамить!”

„Монашество — это брак с Христом. Спасителя полюбить больше всех и вся”.

Да, матушка Еванфия сама так и любила Христа и вела строгую аскетическую жизнь в подвиге и молитве. Вера ее была проста и крепка. Бывало расскажешь ей свое горе, а она в ответ:

„А Николай Угодник на что? Обратись к нему, проси его, он тебе и поможет”.

Все святые и преподобные были для нее живыми друзьями.

„Верь, что услышана будет твоя молитва! Значит, потерпеть тебе надо, значит, для спасения твоей души надо!”

Сама она молилась о моих скорбях. Вместе мы решили ехать в Саров.

Монастырь наш разогнали в 1928 году. Умерла матушка 76 лет в 1930 году.

Упокой, Господи, ее душу!

УЧИТЕЛЬНИЦА МОЯ

*„К святым, которые на земле,
и к дивным Твоим — к ним все
желание мое”.*

Пс. 15, 3

Была у меня большая детская скорбь. В 14 лет (5—6 класс) я летом брала частные уроки французского языка у одной учительницы гимназии, ведущей немецкий язык Н. Д. К.* Ей было 22 года, она недавно кончила с шифром (брильянтовая медаль императрицы Марии Федоровны) институт. Ее всегда можно было видеть в монастыре пред иконой преп. Серафима Саровского. Никуда кроме церкви она не ходила и слыла „аскеткой”, монашкой. На уроках она шутила со мной и вовсе не была „сумасшедшей”, как ее называли у нас в доме. Я видела веру без колебаний и сомнений, я видела, как она стояла и молилась в церкви. Она вся была как горящая свеча перед Богом. Строгая, скромная, умная, убежденная, идейная, непоколебимая в вере, — так ее характеризовали верующие. Она первая в жизни раскрыла передо мной Евангелие и прочла мне притчу о Сеятеле.

Зерно упало на добрую почву, и начала расти моя симпатия, — моя любовь к этой необыкновенной девушке.

* Наталья Дмитриевна Крылова. 1892 г. — 25/II н. с. 1963 г. Архиепископом Иосифом (Петровых), будущим митрополитом, пострижена в монахини (году в 1922) в Толгском монастыре на Волге. Ее имя в схиме — Серафима. По свидетельству некоторых лиц она оказала большое духовное влияние на митрополита Никодима (Ротова) в годы его юности.

У нее были большие серые, выразительные глаза и задушевный мягкий голос. Бывало и спорить с ней хочется, и не могу я согласиться с нею, и 100 вопросов почему, да отчего ей задаю.

Но пришла осень, кончились уроки и родители восстали против увлечения. „Ты ведь любила учительницу рукоделия! Ведь Наталья Димитриевна ненормальная! Она тебя аскеткой, монашкой делает!”

На голову моей дорогой съпались оскорбления, упреки, насмешки, а я только и мечтала видеть ее!...

Дословно списываю ее первое письмо ко мне, сохранившееся у меня в жизни.

„Дорогая Зоя.

Вы просто глядите на вещи одним левым глазом и вольною волею отрицаете существование половины явлений в мире. Почему? И нелогично, т. е. если отрицать, так уже все в данном случае. Послушайте! ведь теперь еще ничего в мире нет вполне объяснимого. Если Вы привыкли вдумчиво относиться ко всему Вас окружающему, Вы не могли не поразиться тем, что ни один самый знающий ученый не может дать Вам ответ положительно на многие первостепенной важности вопросы. Пока плаваем по поверхности, будто что-то знаем, как только коснемся основ, — признают бессилие разума. Возьмем примеры. Почему слюнные железы выделяют слюну, а железы желудка выделяют желудочный сок? А еще другие, другие и т. д. Наука не решает такие вопросы и всякое выделение железа называет *секретом* желез.

Возьмем мир растительный. Почему, объясните мне, посаженные рядом два крошечных зернышка

яблони и березы выбирают из земли один один, другой другие соки? Возьмите чудную розу и тот ком грязной земли, из которой она выросла. Все Вам здесь понятно? А если все, то посоветуйтесь с кем-либо и состряпайте Вы сами розу. Попытки создать *самим* живое существо, чем занимался Фауст у Гете — не увенчались успехом ни в одной современной лаборатории... Ведь не я одна, но великие люди признавали, что все явления в мире — *чудеса*, лишь с тою разницей, что одни чудеса повторяются ежедневно и мы к ним привыкли; другие повторяются редко. (Если бы чаще, то мы тоже бы привыкли и перестали их замечать.) Мы их не понимаем, — но, странное дело, — почему-то даже отрицаем! Почему это? а? Вы вообще, дорогая Зоя, бродите вокруг духовного мира не имея *ключа* войти в него. Вы натываетесь на духовные явления, но не знаете, какой меркой мерять их. Вы можете отрицать их, смеяться над ними, но они *существуют* независимо от этого. А на Вас блестяще сбываются слова апостола Павла: „душевный человек не понимает того что от духа, так как это кажется ему безумием”. Ну подумайте, ведь было бы смешно, если бы Вы, не видя сроду рояля, засели бы играть и захотели сыграть Бетховена. Сколько бы Вы ни колотили бы по клавишам, а Вы бы все-таки не сыграли, не раскрыли его прелести. Чтобы войти в мир звуков, нужно знать известные приемы... Как же вы хотите вскочить без всякого приготовления в тот мир духовных явлений, который составляет целую половину жизни человека? Или по-вашему нет этого мира? И наши души болтаются в наших телах, как горошина в пустой банке?

Для того, чтобы видеть Солнце, я должна *повер-*

нуться к нему физиономией и раскрыть глаза. Чтобы увидеть источник духовного света я должна раскрыть свои духовные очи. Это делается у людей грамотных чтением подходящих книг и молитвою, у неграмотных — устным оглашением их и той же молитвою к Тому, Кто Один отверзает ум разуместь писания (Еванг. Луки 24, 25). Так как Вы принадлежите к разряду грамотных, я шлю Вам для *серьезного* просмотра книгу. Если Вас интересует многое — найдете ответы. Если нет — не читайте. Нет, впрочем, читайте, во всяком случае потерять от чтения таких книг ничего нельзя, приобрести же, при желании, — очень много. Я больше чем уверена, что Вам эта книга понравится и своей глубиной и ясностью изложения. Читайте на духовное здоровье! Ну, всего хорошего! „Врачу исцелися сам!”

Н. К.

Если не ошибаюсь, то книга эта была еписк. Феофана „Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться”.

Итак, чтение книг духовного содержания, чтение Евангелия и посещение церкви и молитвенное правило в своей комнате стало мне необходимо.

У меня была большая своя комната. В углу киот с образами и всегда зажженная лампада, на ночном столике Евангелие и какая-либо книга. Но отец следил за мной и, конечно, читал мои дневники, полные восхищения словами Натальи Димитриевны.

„Новое твое обже!” (обожание). А ты лучше прочти (автор). Сходи-ка в библиотеку возьми Ренана, прочти вот этого автора.

Повинуясь, чтобы не вызвать раздражения, я

сама шла в библиотеку, брала и читала. Нет, не нравились мне эти книги!

„Ну что, интересно? Поняла, кто был Христос?“ Начинался разговор. Я была так молода, так любила отца, что спорить и дискутировать с ним не могла: боялась я, что еще 5–10 минут, и он скажет что-либо *страшное* для души. Где мне было тягаться с ним, с его запасом всяких научных атеистических доводов! А их у него было так много... „Папочка, ты бы прочел Евангелие... Ты бы полюбил церковь“, — робко скажу я. — „Я *все* знаю, я *все* знаю и понимаю, слушай меня, я боюсь за тебя, ты мое счастье, я не переживу если... если“... На глазах слезы, голос дрожит, глухо кашляет в своем кабинете. Очень я его огорчала! Очень... очень!..

А я все же иду к обедне, ко всенощной, к матушке Еванфии.

Отец был председателем педагогического совета в гимназии и, конечно, начальство знало о влиянии Н. Д. на меня. Это было для Н. Д. опасно — вольнодумство не поощрялось. За мной стали и другие ученицы „обожать“ Н. Д., причем ученицы-то самые лучшие 5–6–7 класса. С горечью и недоумением я видела, что Н. Д. сторонилась меня и ни книг, ни бесед уже не было, а причина та, что наша семейная обстановка была известна всему городу. Досужие кумушки разносили сплетни... Плохая семья!

„С кем вчера гулял твой отец на бульваре?“

Стыд жег мои щеки. Я замыкалась в себе и бежала в монастырь к м. Еванфии.

„За что меня не любит Н. Д.?“ — вопрошаю я в своем дневнике.

По всем предметам 5, а по-немецки всегда, за все ответы 4. Знаю, знаю, угадываю!

„Может ли что доброе быть из Назарета? А я... а у нас Бедлам (сумасшедший дом в Англии). Может ли что доброе быть из Бедлама? Я грущу, вздыхаю и завидую Лизе. Да, я росла в обстановке очень тяжелой...

ЛИЗА

Она была годом старше меня и на класс ниже меня. Наталья Димитриевна считала Лизу своим маленьким лучшим другом. Лиза была краснощекая, крепкая, курносая девочка из крестьянской семьи, живущей в деревне. Отец чем-то торговал, привозя гастрономию из Москвы. У нее была длинная густая рыжая коса и блестящие круглые глаза. От всей фигуры веяло крестьянской дородностью, деловитостью. Она была в классе первой ученицей, но всех чуждалась. Ученье ей давалось легко. Говорила она отрывисто-бойко, не стесняясь в выражениях.

Она следовала во всем за Н. Д. Ее можно было видеть и в церкви, где была Н. Д...

Н. Д. поклон и Лиза поклон.

Н. Д. снимет в церкви шляпу и Лиза тоже.

Н. Д. поставит свечу и Лиза сейчас же сделает то же.

Лиза исполняла все посты, хотя не скрывала, что черного хлеба съедала буханками. Одевалась в черное, ходила с глазами, опущенными вниз, не читала светских книг и, конечно, как Н. Д. не ходила ни в кино, ни на спектакли, не танцевала; говорила мало, а с некоторыми девочками и вовсе не разговаривала.

„Святоша! Монашка! Юродивая! Ханжа!“ — смеялись над ней.

Несмотря на посты и службы, она была здоровая. Так вот и казалось, что сейчас прыснет смехом, что все это в ней наигранное, не ее... А она только и глаза поднимала, чтобы увидеть Н. Д. Перед уроком немецкого языка Лиза никому, а тем более мне, не даст зажечь в классе лампаду перед образом, всех оттолкнет: „Не так, я сама!”

Н. Д. войдет в класс, посмотрит на икону, невзначай что-то шепнет Лизе. А мне тяжело, обидно: со мной давно ни слова, ни взгляда. Даже и спрашивать перестала, как я руку ни тяну, а Лизу 5—10 раз за урок спросит. Уроки 5 и 6 классов шли вместе, так как учили немецкий язык не все.

Я стала дружить с Лизой, но — никаких разговоров о Н. Д. Лиза со мной не вела. Думаю, что это был их сговор.

Все мои дневники того времени заполнены разговорами с Лизой об аскетизме, о монашестве, о молитве Иисусовой. Она, Лиза, была за аскетизм, за отказ от всего мирского, грешного. Лишь бы спасти свою душу для Царствия Божьего. А остальное — не мое дело! Я же выдвигала альтруизм и желание „положить душу за други своя”. Здесь было скрытое влияние отца, рассказы про революционеров, каторжан. Ведь в студенческие годы отец увлекался революционными теориями и „преклонялся перед каторжниками”, как говорила мама. Отец числился еще и тюремным врачом, и хотя в тюрьме города сидели только уголовные, отец жалел их и всегда говорил, что „все друг перед другом виноваты”. Я как-то носила передачу в тюрьму. Отец уже в эти годы не вел переписку с „товарищами” и сжег все их письма, но, как многие, ругал царское прави-

тельство и ждал революции, когда будет... о чем только он не мечтал!.. Ох, его мечты!

„Напеки пирогов, сходи на самые окраины, там где живет беднота!“ — говорил папа. Я пекла пироги и выискивала бедноту. Мать меня ужасно напугала этими лачугами, накричала на отца, и филантропия моя кончилась.

Я сама искала какого-то подвига, стала думать, как бы помочь на войне, и отец нашел выход: дал работу. Набрав конвертов, бумаги, марок, я ходила в больницу и писала письма в деревни солдатам, которые лежали в больнице. Это отец воспитал во мне участие к людям, и я считала, как и он, что аскетизм — это эгоизм.

Раз в неделю отец дома вел бесплатный прием бедноты.

Вот и были у меня с Лизой разговоры, чем и как спасти свою душу.

Душеспасение Н. Д. и Лизы шло быстрыми темпами. Слухи шли, что они приступают к св. Причастию чуть ли не ежедневно. Это производило сенсацию в городе не только среди купцов и интеллигенции, но и среди духовенства. А в городе 25 церквей и 3 монастыря — можно скрыто ходить. И опять слухи, пересуды: „Это ересь! Это не по-православному! Н. Д. смущает учениц, улавливая их в религиозные секты“.

Н. Д. и сочли бы сектанткой, если бы не знали, что местный архиерей благоволил к ней (Иосиф Петровых*).

„Владыка приехал!“ — восторженно шептала мне Лиза.

* См. примечание к с. 181.

Звонили колокола. Владыка совершал богослужение с пышностью и торжественностью. К Святой Чаше подходили только Лиза и Н. Д.

А когда владыка служил для себя, келейно, то Лиза пела и читала за псаломщика, а Н. Д. подходила одна. И за стол владыка их приглашал.

Но ведь таких, как Н. Д., в городе и не было.

Меня мучила *детская зависть*, но я не хотела так слепо следовать Н. Д., как Лиза, и не хотела отказываться от светских удовольствий, к радости отца, боявшегося „ереси” Н. Д.

В 15 лет я была бледная худая девочка. Почему-то я не любила есть и ела мало, никакие сладости меня не интересовали, но красиво одеться я любила. Сине-голубое платье так шло ко мне. „Девочка-фиалочка” — назвал меня кто-то и я уже заглядывала в зеркало на себя. А Лиза шила черное платье, готовясь идти в монастырь. Она уже и четки себе приготовила и про себя творила Иисусову молитву — в 16-то лет! А?!

Отец же поучал меня, что смысл жизни в „неустанном делании добра”... Ах, я бы верила ему, если бы... за что он не любил мать? Почему при нас, детях, он говорил, что не дождетя, пока мы вырастем?! Как он мечтал о другом, тяготился семьей!

Здоровье мое было слабое и отец не раз со слезами на глазах уговаривал меня отдохнуть, гулять, есть. Я огорчала его до слез своей худобой и кашлем. — „Какое у тебя раннее духовное развитие! — ужасался он. — Я в твои годы только и думал об удовольствиях. Почему ты так настойчиво желаешь ехать в Саров? Видно там ты найдешь себе какую-нибудь трагическую смерть!” Он пугал и себя и меня. — „Мне надо найти свой жизненный

путь!” — твердила я. Мы с Лизой решили ехать вместе.

Это было в июле 1915 года.

*„Да даст тебе Господь по сердцу твоему,
и все намерения твои да исполнит”.*

Пс. 19, 5

Меня отпустили в Саров с Лизой и двумя монахинями, одна из которых была матушка Еванфия, а другая до того молчаливая и тихая, непрерывно перебирающая четки, что можно было подумать, что она глухонемая — матушка Варсонофия. Отец был очень озабочен, давал мне советы и наставления, со слезами крестил меня на дорогу. Я обещала ему не купаться в холодной воде, — ведь я всегда кашляла. Мама была рассержена и пугала меня случаями на тему: „что может случиться”, приводя страшные трагедии.

Долго мы ждали парохода у пристани. Я помню, что читала книгу Арндта „Об истинном христианстве”, сидя на бревнах у воды. Боялась, не пришла бы мать взять меня обратно.

Наталья Димитриевна пришла провожать Лизу, и они сидели вдвоем на верху горы, на бульваре, мирно беседуя. Подойти к ним я не посмела, меня туда не звали, и не сказали ни слова, — обидно мне было и завидно, да насильно мил не будешь! Дружкой со мной Лиза гордилась: я с ней советовалась в учебных делах, иногда она поправляла мое немецкое изложение; я защищала ее от нападок одноклассниц, она бывала у нас дома. Я извиняла ее резкость деревенским воспитанием, но преклонялась перед ее отданностью церкви и подражанием во всем Н. Д. Ее духовное совершенство, как я счита-

ла, было необычайно идейно, глубоко... — куда мне с моими сомнениями, с моим общительным характером, — я не аскетка, я люблю природу, стихи, ищу интересных людей, спорю с девочками о смысле жизни. Мне много неясно, я хочу много знать! А у Лизы — все ясно, ничего не надо, кроме спасения души. Вот только у старцев в Саровской пустыни испросить бы благословения на частое-частое причащение св. Таинств и на монашество.

„Давай, останемся!?”

„Нет, я домой вернусь! — отвечаю я.

„Всякий озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия!” — изрекает Лиза. Она цитатами из Евангелия и псалмов так и сыплет в ответ.

Едва мы сели на пароход и вошли в каюту, как Лиза распределила места. А я думала, что матушка Еванфия будет за старшую. Обе они устали, весь день ожидая на пристани сильно опоздавший пароход, и быстро уснули. Мы зажгли восковые свечки, взятые с собой и читали Евангелие.

„50 поклонов!” — сказала Лиза.

„Не могу, устала, голова болит!” — я почти засыпала.

„Разнюнилась! А еще в Саров едешь, сидела бы дома!” — обрезала Лиза и стала отбивать поклоны на восток.

Утром стал вопрос о еде. Мы все набрали с собой хлеба, сухарей, яиц и прочих немясных запасов, так как время было военное, все дорожало, и на пароход все было дорого.

Лиза распорядилась съесть сначала мое. „У меня консервы, яйца, на обратную дорогу пойдут еще, — все будем есть потом, после”. Свой тяжелый рюкзак она спрятала подальше. Пили чаек с ситным.

В обед взяли в кухне на пароходе шей да картошки.

„Плати ты, — ты самая богатая из нас. Хватит с тебя! Хлеба черного ешь больше!” Сама она съедала огромные куски и смеялась надо мной: „Плюшек нет здесь, привыкла к бульону-то да котлетам, вот и голова болит... Ну и лежи! Неженка!”

Я только ежилась от такого обращения, стараясь помогать старушкам-монахиням во всем, держалась с ними ближе, и они уговаривали меня пообедать одной в столовой, не стесняться их. Я брала обед, но ели вместе.

Матушки расположены ко мне были больше, чем к Лизе, и Лиза старалась избегать их. Сидя на палубе, она то и дело вставала, крестясь на церкви, белеющие на берегах Волги.

На палубе ехали раненые солдаты. Публика слушала их страшные рассказы о зверствах немцев, о тяжелой жизни солдат в окопах. Как им всем хотелось домой к своим женам и детям, в свою деревню, к своему дому. Свои раны они считали счастьем, которое, может быть, освободит их от убийств и смерти. Это были пожилые бородатые крестьяне. А молодые были озлоблены и ругали офицеров, командиров и царя. Революционный дух уже веял везде, недовольство народа выразалось явно.

Кто-то отдавал жизнь, а кто-то (я знала кто) разживался на войне.

Через два дня доехали до Нижнего Новгорода и ночевали в монастыре. Сидя у окна в эту июньскую теплую ночь, я стала молиться на небо, своими словами прося Бога вести меня, не дать мне запутаться, погибнуть для вечной жизни, забыв Евангелие и Церковь.

„Укажи мне как жить дальше!” — вот был вопль моей души. Это был вопль вдохновенной молитвы. Я знала, что через год, когда я и сестра кончим гимназию и институт, наступит новая жизнь без отца, который так мечтал пожить „для себя”. Мать, не стесняясь и не скрывая, говорила свои мысли, пугая будущим.

Лиза утром ушла к обедне, где причащалась, и пришла усталая и чем-то недовольная.

В Ардатове сговорились с возчиком на 5—6 дней. Двое ехали с поклажей, а мы, девочки, шли по очереди, так как лошадке было трудно всех везти. Возчик был бывалый, не один год возил по святым местам богомольцев. Возчик очень оценил повадки Лизы, — как она умела вести и править лошадь, когда возчик шел.

„Ты все идешь, а она и возчика-то с козел согнала — сама сидеть хочет” — ворчали старушки.

„Люблю править!” — лихо поговаривала Лиза, понукая хлыстом лошадку.

„А я не умею!”

„Ну вот и шагай! Барыня!”

Ехали мы ночью и рассвет встречали в поле. „Споемте, девочки, — Слава Тебе, показавшему нам свет!” — просили матушки. Все хором спели, и еще молитвы спели. Какие-то богомольцы — две женщины, девушка и хромой мужчина подсели к нам и вышел хор. Они шли 60 верст пешком, а у нас был возчик, и мы расстались.

Величественная панорама открылась перед глазами, когда из-за леса показались храмы и потом весь монастырь (Дивеевский монастырь). Монахини встречали всех, брали поклажу и провожали в гостиницу. Будто они ждали богомольцев, а мы были

им как родные. Мы отказались от дворянской гостиницы и пошли в „общую“, как простой народ. Было чисто, но жестко спать на деревянной скамье, есть в простых жестяных тарелках, умываться из общего раковины. А тут еще и дети плакали, и болела голова от духоты и спертого воздуха. Это все после моей светлой, уютной комнаты! Ночь не дала отдыха... Утром обедня. Лиза опять подходила к Св. Чаше.

„А когда же ты исповедовалась?“ — спросила я.

„Смотри на себя, и довольно с тебя!“ — был ее ответ.

После обедни и завтрака из пшенной каши, которую принесли на стол в ведре, и все, кто хотел, ели, мы пошли осматривать хозяйство монастыря. Меня заинтересовали мастерские. Светлые просторные комнаты, уставленные в ряд пядьки. Монашеники-послушницы шьют, вышивают шелками и золотом, бисером и жемчугом красивые вещи, — и ризы к иконам, и пелены на надгробия, и разные панно, подвески.

Какая трудоемкая ручная работа, какое мастерство! В другом зале шьют белье, платье: ведь в монастыре больше тысячи насельников — все свое и для своих. Вот и белье для армии, зеленые гимнастерки, суровые рубашки. Зал — золотошвейек: шьют эполеты, погоны, вяжут аксельбанты для армии — это государственная нагрузка.

Руководят все свои же монахини.

„Откуда вкус, изящество рисунка?“

„С детства приучают к послушанию, а Господь всему и умудряет“ — разъясняет проводница.

„Трудолюбие выращивает талант“.

Осмотрели сиротский дом для девочек. Няни-монашки ухаживают за детьми. Чьи же дети?

„Да разные случаи сиротства и бедности, а теперь и беженцы от немцев из занятых губерний”. Содержат за счет монастыря.

В художественных мастерских шел урок рисования. При монастыре есть школа для детей. Девочек учат рисовать иконы, но сейчас их учат рисовать разные фигуры из кубиков, со слепков. Несколько девочек лет 10—12 в черных длинных платьях и скуфейках.

„Они уже хотят быть монахинями”.

„В 10-то лет?!” ужасаюсь я.

„Так уж видно по их характеру и сердечному расположению, что они склонны к монастырскому житию; не любят мира”.

Взрослые монахини пишут иконы. Живописное Распятие надолго осталось в памяти.

Везде трудолюбие, молчание, молитва!

В Дивеев принимают только девушек, вдов не принимают — так заповедал преп. Серафим, — потому и называется Дивеево (Дева). Здесь все готовое для насельников, и одежда, и стол, зато весь труд, кому какой дадут, никем не оплачивается, все делают „по послушанию”.

Много всяких служебных построек, все делают монахини. Огород, сад, скотный двор, пчельник — всего не могли обойти.

После ужина — постной лапши в грибах — монахиня стала обходить всех с блюдом. „Сколько же за день с четверых?” — спросили мы. — „По усердию”, — был ответ. Матушки наши оценили: и нам не дорого, и усердие показали.

Вечером надо было ходить по „Серафимовой до-

рожке” — насыпь небольшая с утоптанной тропинкой; шли с Иисусовой молитвой и четками: „За эту дорожку антихрист не пройдет!” — объясняет монахиня. — „А скоро он придет?” — спросит кто-то. „Ох, скоро для тебя, скоро!”

„Антихрист — отречение!” — пояснит следующий голос.

„Не отрекись! Все, но не я!” — отзовется еще голос.

„Помни, помни петуха!”

„Запоет для тебя!”

„Молитесь! Господь милостив, все простит”.

Вот так идут одна за одной, прикладываясь к встречающимся иконам на столбах, кладут поклоны.

Усталая, и червь сомнения подкрадывался язвительными мыслями: для чего все это? Скорей бы в Саров!

Утром пошли к обедне, было воскресенье и пел „большой хор”. Было торжественное пение, вернулись часам к двум дня, еле стоя на ногах от усталости. Лиза отказалась от всяких хлопот по хозяйству и помощи матушкам, запасы свои берегла и разговаривала, резко отвечая. „Ладно, уж перетерпи, пребудем в мире”, — утешали матушки и меня и себя.

Лиза вела запись расходов, все деля на четверых поровну, и ела за троих — удивляя нас аппетитом. Белого хлеба не было совсем и только просфоры ели по утрам.

К вечеру поехали по дороге в Саров, на той же отдохнувшей лошадке и с тем же возчиком. Почему-то он был голоден, взял у нас хлеб, а мы просили Лизу ему чего-либо дать из ее запасов. Я была очень

удивлена, что возчик ел крутые протухшие яйца, данные Лизой, даже черные иногда. Погода была жаркая и яички испортились. „Ну вот, нам не давала!“ — „А смотри-ка, как он ест! — умилялась Лиза. — Вот что значит голод. Вот что значит — простой человек — не вы!“ А извозчик, запивая водой из фляги, съел за дорогу десятка два яиц и все хвалил Лизу, как она умеет обращаться с лошастью.

Кончился сосновый бор, проехали полями и перед нами — стены Сарова. Толпы народа, идущего туда и сюда, вызывали чувство, что здесь идут на базар и с базара. Крестьяне-мордва в расшитых сарафанах, ярких платках и фартуках, в онучах и лаптях заполняли дорогу. Шли с детьми, тащили тележки с инвалидами, с больными. Часто встречались на дороге нищие, калеки, слепые, сидящие на земле и поющие „Лазаря“. В воротах, при въезде монах высокого роста направлял пришедших и приехавших в корпус. Везде стрелки с цифрами, так что сразу нашли „корпус для женщин без детей“. А есть для семейных и для паломников-мужчин.

По мужскому монастырю женщинам и детям ходить нельзя. Нас ознакомили с расписанием служб в церкви и куда нужно сходить. В пустыньку, к камню, на источник. Сказали, что в три дня все можно сделать и „идите по домам“, то есть больше и дольше жить нельзя и делать нечего. Строго, коротко, ясно, без поклонов. Мальчики-послушники лет 12—14 принесли чайники с кипятком, миску черного хлеба. Они исполняли роли „мальчиков на побегушках“ и быстро, точно выполняли приказания старшего седого монаха, смотря ему в глаза. Не шалили. Видно, было строго: „По восемь

часов бегают! — объяснил о. Паисий, — и все в чистоте и порядке держат”. Впервые в жизни я услышала слово „беспризорные”, они наши приютские. Опять из занятых немцами областей, беженцы, потерявшие родителей и родных.

Утром в 5 часов перед обедней шла общая исповедь. В храме полно народу. Я впервые была на общей исповеди, но поняла, что индивидуальная исповедь заняла бы сутки—двое. Священник, заглядывая в требник, перечислял грехи, а народ шумно отвечал: „грешны! грешны!” А я-то думала, а я-то мечтала об исповеди у старца! Я подошла из последних и сказала об этом. — „Некогда, некогда нам! Видишь, сколько народа! Да что у тебя? Пела? Танцевала? Не постилась? Отдельно — зачем же? Бог с тобой, девочка. Иди с миром! Веруй и молись!” — „А может, мне в монастырь уйти?” — „В монастырь? Сначала надо в вере укрепиться в миру, себя испытать во всем. Ведь вы из светских девочек? По вас видно. Интересуетесь духовной жизнью? Читайте книги — это те же люди. Где нам с каждым говорить, видите, какая масса народа?! Некогда!”

На душе было обидно и горько. Лиза громко читала Правило ко святому Причащению. Пели уже Херувимскую. Мужской хор монахов басил какое-то знакомое нотное пение, напоминавшее мне раннее счастливое детство на даче под Угличем в Улейменовском монастыре.

Чего я ищу здесь? Зачем я сюда приехала? В Угличе есть старые монахи и нет там этой толпы-мордвы, простого, ничего не понимающего, грешного народа. Я искала людей, которые могли бы служить мне „примером жизни”, и я видела таких людей, но „пример”-то их не подходил мне, ведь мне было

15—16 лет и я была из неверующей среды, с детства слышавшая вокруг антирелигиозные рассуждения, но я была верующая в Бога, любившая Христа и не хотела быть иной. Мне указывали на монахов, священников, как на отрицательных персонажей в жизни, их осмеивали и ругали при мне, а к ним тянулась душа моя и в их жизни я находила замечательные поступки. Я видела нравственно совершенных людей, учеников Христа, людей, далеких от грехов, и людей, окружающих меня. Здесь была брань, а у тех — молитва; здесь была ненависть, злоба, месть, сплетни, а у верующих — любовь и всепрощение и неосуждение. Кто-то сказал, что душа человека по природе христианка и от самого человека зависит сохранить и сберечь свою душу. „Образ есть неизреченныя Твоя славы” — душа — образ Божий...

„Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас” — такими изречениями заполнен был мой дневник.

И если отцу моему грезилось через год-два, как мы кончим гимназию, бросить семью, так и мне хотелось уйти из дома, где не любили христианства, где не было последователей Христа. Но куда? Да ведь я и зарабатывать на хлеб себе не сумею... Впереди все неясно, все страшно... Тихая обитель, монастырь манил простотой жизни и цели, но ум не соглашался и требовал образования, широкой деятельности, воли, свободы ежечасной и какого-то жизненного размаха, а не сидения за пальцами, за шитьем, за работой, изнурительной изо дня в день. „Погубить свою жизнь в монастыре это сохранить душу для вечности!” — поучают меня старушки-спутницы. „И в монастыре грех и искушения бы-

вают, но с молитвой все можно победить! А в миру — одна погибель!”

И вспоминаются мне случаи из моего раннего детства. Мне 6—7 лет. Бонна берет меня с собой в монастырь, „в гости к монаху о. Михаилу”. Он с неохотой отворяет дверь в келью — смущен и недоволен. Я не понимаю, о чем ему тихо говорит бонна, но о. Михаил, сидя в углу под иконами, качает головой и говорит: „Нет, нам это недозволено! Нет, нам это не полезно!” Я каким-то чутьем угадываю, что бонна зовет его гулять в лес, а это ему грех. Я в восторге от слов отца Михаила, я знаю, что он победил, что он верно поступил. Я готова целовать его руки и начинаю проситься домой.

„Пень! Какой же он дубовый пень!” — выходя, говорит бонна, а я знаю, что о. Михаил святой, и когда он служит обедню, я стою на коленях не перед образами, а перед ним. Я с детства любила батюшек. Послушник Николай по вечерам гуляет с нашей семьей во ржи; но вот 8 часов, удар колокола, возвещающий, что ворота монастыря через полчаса закроют на ночь. „Останьтесь, погуляем еще, вы через стену влезете!” — уговаривают монаха мама и тетя. — „Нам не дозволено так-то делать!” — отвечает он и убегает. Кем не дозволено?

Как потом в годы юности и всяких искушений эти слова „это нам не дозволено!” горели ярким огнем, очищали поступки, согревали душу и утверждали веру! Да, только верующему Господь давал силу преодолевать искушения и грех.

А время приближалось такое, что царствовал лозунг „все дозволено!”. Война, разруха, дороговизна. Даже в монастыре объявления: „Остерегайтесь воров!” „Не ходите по лесу одни!” „Береги-

тесь незнакомцев!” — уже и здесь случаи грабежа паломников.

Матушка Еванфия, понимавшая меня, утешала: „Получишь ты здесь и ответ и утешение, молись и не смущайся ничем. Ну что ж, что и здесь встречаются воры? Везде люди, везде и грехи. На святые места враг рода человеческого еще больше нападает, и на хороших святых людей больше ополчается. Грешники дьяволу не нужны, они и так его слуги!”

Пришли мы в собор прикладываться к мощам преп. Серафима. Очередь вьется по церкви, читают акафист преподобному и народ нестройно подпевает за певчими. У свечного ящика стоит звон от считаемых монет. Продают свечи всех размеров и на блюде их носит монах к раке. А там блеск серебра и золота от множества зажженных свечей и лампад. Опять сомнения: да нужно ли все это почившему святому? И для чего все это столпотворение здесь? Очередь к мощам соблюдается строго, священник монах наклоняет голову на определенное место — задержаться ни на секунду нельзя, подходит следующий паломник... движется тысячная цепочка людей... Где же тут „поплакать у мощей, излить горе, просить о прощении, посещении и твердости” — скорее, скорее!!

Пошли на источник. Дорога лесом, сосновым лесом столетним. Дорога широкая, утоптанная толпами богомольцев. Опять мордовки в ярких платьях, в лаптях, много и русских крестьян, группа монахов из какого-то мужского монастыря — идут тоже к источнику. Девушки в белых платочках, как и я с Лизой. Вспоминается картина Нестерова „Святая Русь”. Идут труждающиеся и обремененные... Большинство простого народа.

„Шляп нет, франтов нет; веселых нет, богатых нет”, — считает Лиза. — „Да богатых и веселых Господь и не звал к Себе, — скажет матушка, — им здесь ничего не надо и делать здесь им нечего!”

А мне надо идти, ведь я — обремененная сомнением и усталостью! Солнце нестерпимо палит, июнь, и хорошо идти по лесу в надежде напиться у источника. По бокам дороги — лавочки-киоски, где продают просфоры. Монах мочит водой низ купленной просфоры и чернильным карандашом выводит имена, поминаемых „за здравие” и „за упокой”. Просфоры идут в разные корзины.

„Всех помянем, всех помянем, — говорит старик-монах. — Завтра получите в притворе церкви, ну что же, что не свою, не с вашими именами получите просфору? Мы все одно Тело Господне! Мы все равны: и стар, и млад, и беден, и богат — у Господа!”

Звенят пяточки и гривенники, опускаемые в металлические кружки. „И везде-то деньги надо!” — сокрушается Лиза, не уместившая на огромной просфоре всю родню. А мне не хочется никого писать неверующего, но матушка советует писать именно их, за кого будет молитва в Церкви у престола. — „А как же без денег? Ведь в монастыре больше тысячи живут, всех надо одеть, обуть, накормить, да и нас всех, паломников, хлебом и квасом даром кормят”, — вразумляют нас.

„Да, квас-то здесь отменный, а хлеб-то черный заварной лучше всякого медового пряника!”

Идем дальше. На обочине сидят нищие-калеки, поют „Лазаря”, делят деньги, лежат, спят. Встретили тележку — безногого везли.

Ох, ты Русь, терпеливая, нищая!

Вот и источник. Где же?

Спускаемся вниз по 10 ступенькам и попадаем в купальню. Пол бетонированный. Наверху у потолка железная труба с отверстиями, из которых большой струей льется вода, холодная ключевая вода*. Лиза и матушка подходят, крестясь, под ледяной душ. Я не хочу — обещала отцу, я кашляю. „Вот искупаешься и не будешь вовек своей кашлять”, — говорят мне. — „Нет, не хочу!” — „Ну и будешь всегда кашлять!” — пророчат мне матушки**.

„У нее веры нет в это, — вставляет Лиза и снова идет под струю. — Как кипятком обдало!” — от ее тела идет пар. Я содрогаюсь, борюсь с собой: „Нет, не надо!” Подошла к колодцу и заглянула вглубь: там икона (?) преп. Серафима. Все бросились ко мне: как? Где стояла? Как видела?

„Врешь, ничего не видела! Ишь какая святоша!” — всполошилась Лиза. — „Мне показалось... я видела, но чего ты накинулась на меня?” — „Преподоб-

* Здесь описание купальни источника преп. Серафима несколько отличается от имеющихся в литературе, более ранней по описанному в ней времени. Например, в книге „Житие, подвиги, чудеса и прославление преподобного отца нашего Серафима Саровского”, с. 301: „В настоящее время над источником о. Серафима устроена прекрасная часовня, а вблизи нее купальня с двумя совершенно разобщенными отделениями. Самое купанье устроено так: из колодца, который обделан деревянным срубом, врытым в землю, проведен к месту купания желоб; он выходит из стены на половине высоты человеческого роста. В желобе устроен кран.купающийся должен, став под желоб на колени, сам отвернуть кран, и на него польется струя холодной воды”. Вода в источнике, по сообщению этой же книги, летом около 4 градусов тепла.

** Предсказание за неверие сбылось: я всю жизнь кашляю и ничто мне не помогает.

ный показывается только особым людям!” — поясняют мне. — „А она и не купалась даже! — Лиза выходила из себя. — Ничего не видно!” — „Ну да ладно, оставьте Зою”, — заступалась матушка; а я обижена и напугана, кругом люди слушают, все смотрят в колодец и на меня.

Здесь же киоск. Торгуют бутылками и деревянными к ним футлярами. Налив воды, взяла бутылку для мамы: „может, исцелится”. Пошли дальше лесом — „к камню”, на котором преп. Серафим молился 1000 дней. Камень огорожен железной решеткой, рядом сосны окованы высоко железом. Паломники все портят, беря на исцеление. Вся земля около камня изрыта так, что образовались ямы из чистого желтого крупного песка, который насыпают в мешочки. Монах, сторож при камне, раздает мелкие камушки.

Рядом киоск торгует листочками с молитвами, кому какую. Ленты, закладки, образки и крестики на шнурках. У кого нет денег — берите даром, другие за вас дадут, но совестливые наши люди даром почти не берут, разве листок с молитвой. Все стоит копейку, две, пятак.

Черные шелковые четки купили и я и Лиза.

„Для чего они тебе?” — допрашивает Лиза. — „В подарок матушке”. — „То-то!” — Какая она, Лиза, сердитая!

У меня в душе смущение: везде торгуют, везде деньги... Разве в этом Царство Небесное? Разве здесь истина? Люди чтут песок, чтут камень, чтут воду... — все это мне не нужно, чуждо, да и устала я ото всего...

Опять идем в „дальнюю келейку”, где жил преп. Серафим. Небольшая избушка, вся в иконах и лам-

падках. Старый монах отец Афанасий раздает сухарики. Кого погладит по голове, кого перекрестит, другому словечко скажет, а то поет молитву. Подхожу и я: „Ничего, не тужи, все хорошо будет!” — слова ободряют меня. Возвращаемся усталые и после скромного ужина узнаем от монаха, что в монастыре есть старец в затворе. Он никого давно не принимает, но ему можно написать письмо и получить ответ. Я обрадовалась, хотя червь сомнения не оставлял меня. „Как он мне ответит?”

Через всю жизнь сохранным пронесла я это письмо. Вот оно:

„Батюшка. Научите меня, как жить, чтобы быть достойной носить имя христианки. Покажите мне путь мой, и как я должна идти по нему, чтобы достигнуть нравственного совершенства, к которому стремлюсь всей душой и хочу его приобрести. Скорблю о том, что мало во мне веры, которая укрепляет духовную жизнь. Догматы и обряды не находят места в душе моей, я их или отвергаю или не следую им, потому что они не учат нравственности. Евангельские слова Иисуса Христа, что Царство Божие внутри вас есть — живут в душе моей, но я не знаю, как воздвигать и укреплять это Царство. Я хотела бы иметь тишину и покой в душе своей с непрестанной молитвой Иисусу Христу, но в монастырь постричься я не могу потому, что хочу „душу свою положить за други своя”, да и люблю жить с людьми и в мире.

Скорблю я и о том, что люблю своего папу часто больше учения Христа, и когда родители мои против моего частого хождения в церковь или к исповеди (что было в Великий пост), то я сильно сокрушаюсь сердцем и не знаю, что делать, не могу нарушить

просьбу родителей. Нахожу утешение у Распятия, но сердце болит. Скажите мне, батюшка, сколько раз в году надо приступать к св. Причащению? Мне говорят некоторые, что можно часто, но я боюсь привыкнуть, за что, конечно, на том свете потерплю от Господа наказание, да и сама, пожалуй, не смогу быть всегда готовой, ибо погружена в заботы мира сего. Сегодня я исповедовалась и приобщалась Св. Таин, но не имею такой духовной радости, что раньше испытывала, по причине множества исповедников не успела сказать все свои согрешения и мне горько сегодня.

Батюшка, знаете вы все, что есть в душе моей, и видите ее — научите же меня жить и скажите, укажите путь, я хочу жить истинной христианкой, сама не имея на это веры в догматы и обряды. Скорблю я о том, что, видно, скоро наша семья распадется, а я не знаю, к кому отойти — к матери или к отцу. У отца моего любимого есть другая и он хочет с ней жить, а не с нами. Я у отца любимая дочь и сама его люблю, а мать больную мне жалко оставлять. Скажите, батюшка, что будет с семьей нашей и к кому мне отойти, к отцу или к матери. Сердце болит, как подумаю о сестре Рае и брате Николае — куда нам идти и как жить дальше? У матери моей какая-то болезнь, голова и сердце болит, тоскует. Скажите, что ей сделать, чтобы выздороветь? Батюшка, родимый, напишите мне записочку — я бы по ней и жила. Прошу вашего благословения на мою семью, рабу Божию Анну и на меня грешную, рабу Божию Зою”.

Переписьвала начисто. Лиза так и ахнула: „Где же старцу читать твое послание? Что писала?” Не

дала я ей читать. Это был протест за ее ворчанье на меня. — „А обо мне писала? А об Н. Д.?” — „Ничего тебе не скажу!”

А вокруг разговоры: „Да где же старцу все наши письма читать? Да когда же? Да грамотен ли он? Поймет ли он? Как он ответит?”

Монах раздавал конверты: „Положите по усердию на обитель”. И здесь деньги! А кто распечатывает? Кто читает? И нашептывает дьявол сомнения. Вспоминаются слова Христа: „Се; сатана просил сеять вас как пшеницу!” Сеется душа, сеется через сито сомнений и неверия; отбрасывается мякина, остается вера. И пишут, и деньги дают, и верят, что будет ответ. Вера нужна, вера!

Огромный почтовый ящик, сюда и кладут письма. Не прочесть!.. Сколько здесь слез, молитв, просьб — и все с надеждой ответа.

На следующий день к вечеру идем все за ответом. Толпа идет к двухэтажному деревянному флигелю с балконом и лестницей, к нему. „Это невысказано! — думаю я. — Это обман: всем ответить?! О Господи, зачем я сюда приехала? Все ложь, обман народа...” — шепчет мне сатана в душе. Я отошла от толпы. На балкон вышел монах, принесли книги, картинки из жизни преподобного Серафима. Толпа засуетилась, все взоры обращены к балкону. Монах — это келейник старца о. Анатолия, который в затворе, не выходит, не принимает, не видит никого...

Верю, Господи! Помоги моему неверию!

ЧУДО

По вере вашей дасться вам!

Я стояла вне толпы... я уже ничего не ждала, умом сознавая, что никто никакого ответа на письмо не даст, так как это и невозможно. Еще вчера вечером, написав письмо, я сказала об этом матушке Еванфии. Она хоть и огорчилась моим настроением, но не переставала обо мне молиться днем и ночью, и глаза ее слезились. Она себя чувствовала как бы обязанной мне: она посоветовала мне ехать в Саров, я оплатила ей частично дорогу, а мое желание видеть старца, получить совет — невыполнимо. А вечером надо уже ехать дальше...

Толпа засуетилась, зашумела и, обернувшись, я услышала голоса: „Тебя зовет! тебя зовет!” Матушка Еванфия машет рукой: „Иди, тебя зовет!” Все обернулись ко мне, толпа расступилась. Я птицей влетела на балкон, где стоял монах.

Высокий, худощавый монах лет 45-ти, с небесными голубыми глазами кладет мне руку на плечо. Я изумлена и не могу сказать ни слова, а он начинает говорить. Голос у него дрожит, он не то заикается, не то волнуется: „Вот пришла, девушка, сюда, за ответом к старцу, вот и отвечу тебе. Не тужи, только веруй и молись преподобному Серафиму, и все у тебя в жизни будет хорошо. Ты учишься, вот и учись дальше и будешь работать, и заработаешь на все, что тебе надо”. — „А мать? отец? семья?.. — спешу я спросить. — Я такая несчастная! Семья у нас... — а сама так заплакала горько, — разлад в семье...”

„Ты одна будешь жить, но матери не оставляй. Их разлад тебя не касается, не горюй об этом

— скорбями они придут к покаянию, а ты о них молишься, но с ними тебе жить не надо, одна будешь жить”. — „Монастырь?” — „В монастырь тебе нет пути, не надо, не одна потом будешь: и муж будет, и дети будут, и еще и внуков увидишь... А сейчас учись и не тужи — все у тебя хорошо. Ясный путь Господь тебе укажет. Вот какая молоденькая, а сюда захотела и приехала, это Господу и преп. Серафиму надо... „радость моя” — он тебе сказал, вот какая девочка приехала...” Монах гладит по голове, а слезы меня душат.

„У меня веры мало, я вот на источнике не купалась. Кашляю я...” — „По вере, по вере надо! Но ты здорова, хоть и трудновато тебе будет жить, без скорби не проживешь, но ты себя укрепляй в вере и укрепись. Твори людям добро во славу Божию, не забывай милостыню давать, и все у тебя будет хорошо и ясно. Я тебе все сказал. Ни к кому тебе больше не надо идти, не ищи, живи своим умом, молитвой...” — „А папа мой?” — „Нет, нет, одна, без него, а он покается, только потом, и мать, и он”. — „В Москву мне что ли ехать?” — „Да, в Москву учиться нужно”. — „А кем быть? Мне бы помогать хотелось... я бы в сестры на фронт...” — „Куда тебе... ни-ни! Везде можно помогать”. — „А по специальности?” — „Держись ближе к рукоделию, девушке умствовать не полезно, а что попроще. Там семья, дети, заботы в доме, в ученье ты не ходи!” И опять повторяет: „Тебе Господь все устроит, тебя преп. Серафим ото всего защитит, если уж ты теперь-то к нему приехала, на всю жизнь он с тобой! Только ты не забывай этих дней, сегодняшней нашей беседы. Вот тебе и книга, считаешь ее, а там и с хорошими людьми поведись, держись церкви, посещай

ее и к таинствам будешь ходить, так и жизнь пройдет. Жизнь твоя мне ясна. Иди с миром!”

Я, утешенная его мирной беседой, сошла вниз и бросилась к матушке Еванфии. „Ну вот и ответ тебе!” — сказала, заплакав, старушка, а кругом вопросы так и сыплют: „Что сказал? Что велел? Ответил?”

Я успокоенная, с такой дивной тишиной в душе, сижу где-то на бревнышке, листая книгу.

„Царский путь креста Господня, ведущий в жизнь вечную”. Это беседа ангела с девушкой о жизни, о пути, о кресте.

Идем домой. Матушкам монах дал по картинке. Лиза вся в слезах, рыдает, всхлипывает. Я молчу с ней, я не хочу ей ничего говорить, я вся полна пережитым. Так спокойно мне, так тихо на душе.

„Да ты знаешь ли, как он тебя-то позвал? — спрашивает меня матушка. — Ведь первую тебя и зовет: Зоя! Зоя! Вот чудо-то! А в толпе-то и Зои нет, я сразу поняла, что это тебя зовет. Не Зинаиду, а Зою зовет... ведь это чудо... и тебя первую”.

Сидя вдвоем, я все рассказываю матушке Еванфии, а она плачет счастливыми слезами: „Ведь я молилась! Ведь это чудо!” — „А о чем Лиза плачет?” — „Так она сама к нему взобралась по лестнице после тебя, что-то ему сказала, а он ее с лестницы да и толкнул, да чего-то сказал ей, — ох, как ей обидно: с тобой-то он сколько поговорил, а ей-то — ох, плохо, обидно ей”*.

Стали приходиться богомольцы: „А мне книжку, а мне дал четки, а меня иконой благословил, а мне

* Лиза просила благословения ежедневно причащаться, а монах сказал: „Нельзя тебе!” — и прогнал ее.

велел... а мне сказал”, — и все рады... О, русские простые души!

К Лизе было трудно подойти, до чего она была огорчена. Я о себе ей ничего не сказала, как-то не хотелось слышать ее окрика.

На рассвете мы выехали в Знаменский монастырь. Там огромная икона Знамения. Лиза, к моему удивлению, не подошла к св. Чаше и была сумрачна. Она кое-что узнала от матушки, что я на все получила ответ, и молчала со мной. Дружба наша все более расклеивалась и потому, что Лиза не развязывала свой мешок с продовольствием, а есть нам хотелось. Было за нее стыдно и горько за ее грубость, жадность...

На пароходе случилась совсем неприятная история. Лиза решила нас угостить консервами, но каждая при открывании шипела, вспухала и портила воздух. Консервы за пять дней жаркой погоды и от тряски тарантаса все испортились. Открыли окно и побросали в волны Волги все до одной банки. А мы все голодные и денег нет, а ехать еще сутки. В Рыбинске взяли один обед за 1 р. 40 коп. (как цены-то растут!), и у меня осталось 2 коп. „Может ты, Лиза, купишь?” — „Мне еще после Углича ехать домой...” — отказала она, запихивая подальше свой кошелек.

Друг мой для меня был потерян.

„Я думала, что ты из Сарова возвратишься одухотворенная, а ты — злая!” — сказала мама. Век не забыть мне этих слов! — „Усталая! Не хочу говорить!”

Без меня читались мои дневники, все было пересмотрено. Отец очень интересовался моей поездкой,

но не оставлял своей иронии: „А ты думала, там святость найдешь? Камень целуют! Воду святую пьют. Ну как, дочка, довольна? Насмотрелась? Открылись твои глаза?!”

Я замкнулась в себе и, чтобы не возбуждать в отце протеста, писала в дневнике ложь для отца и матери, что „в Сарове я не нашла того, что искала”. Это дома нравилось.

Была ли я сама довольна поездкой? Осознала ли я все, случившееся со мной? Конечно, довольна и осознала. В 16 лет трудно мне было разобраться во всем. Перечить родителям не хотелось, особенно отцу, который был рад, что я не осталась в монастыре, не заболела. Где-то в глубине души осталась беседа с келейником-монахом и прошла через всю жизнь и была путеводной нитью в жизни. В душе был покой — путь был ясен!

Через года полтора я уезжала в Москву. Училась упорно и стала инженером. И были трудности и горести, но не теряла я веры, не сошла с христианского пути. И муж, и дети... и внуков вижу. Вот уж скоро и смерть — слава Богу за все!

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

А что же с Наталией Димитриевной?

Шли годы. Я приезжала в родной город и навещала ее; мы с годами сблизились. В 30 лет она приняла постриг в монастыре на Волге из рук митрополита Иосифа*. Но тайного монашества не скрывала. Жила она бедно, частными уроками, все время проводя в церкви. Ссылки, тюрьма, сибирский концлагерь... и так с небольшими перерывами мирной жизни и опять тюрьма... за веру, за церковь, за

* См. примечание к с. 181.

связь с владыкой, и так до 60 лет. Не счесть ее горестей!

Я ее не оставляла и помогала ей. И она приезжала в нашу семью, отдыхала у нас по 2—3 недели; но пути наши были разные, и ее мировоззрение было иное, чем наше. Дело в том, что митрополит Иосиф в юности еще как-то выделял в миру Н. Д.* Конечно, такой девицы, с таким духовным подъемом, с таким умственным багажом вряд ли можно было сыскать! Да простит меня Бог, но я глубоко убеждена, что такое выделение в мире Н. Д. пошло ей в духовную пользу. Она в жизни много писала, размышляла об ошибках церкви. В 20-х годах около нее сгруппировалась община христиански настроенных людей. Ежедневное причащение Св. Таинств было необходимо для Н. Д. Если бы не время, если бы она была мужчиной — ее делом было бы реформаторство. Со своими „трудами“ она толкалась напрасно во многие архиерейские двери и дошла до патриарха (в 1950 г.) „Вы монахиня?“ — спросил он. — „Да“. — „Творите Иисусову молитву. Церкви не нужны ваших реформ!“ — Он отодвинул ее тетради.

Итак, везде было непонимание, отказ выслушать. Да в наше-то время до реформ ли?

Я же, обремененная семьей, детьми, работой, хозяйством, всегда говорила Н. Д., что мне не подходят ее „труды“. В 1938 г. она поехала в ссылку к митр. Иосифу, но он, отколовшийся от центрального течения и став во главе „иосифлянства“, упрекнул Н. Д. в том, что она ходит в церковь.

„Владыко, Вы встали утром и сами отслужили

* Я помню его телеграмму: „Никому нельзя, а больным душою (Н. Д.) можно“.

обедню, а если я уйду из нашей Церкви, куда мне идти, где причаститься?”

Н. Д. мне точно передала их беседу.

Владыка Иосиф уже и в ссылке был взят снова и умер где-то в концлагере (в 1943 г.)*.

Сильна была вера Н. Д. Когда была потеряна всякая надежда „передать труды своей жизни” Церкви, на горизонте показался некто Н. и труды были переданы „прямо в ’рот Церкви’ ”.

Началась болезнь. Н. Д. трясло, она перестала ходить. Последнее наше свидание было в 1952 году, когда ей было 60 лет. Одиннадцать лет она пролежала в инвалидном доме. Все хуже был почерк в письмах, потом руки перестали действовать. Все тело ее окостенело. Голова была свежая, ясная. Я не могла по болезни с 1950 года посетить ее ни разу.

* Митрополит Ленинградский Иосиф (Петровых). Родился в 1872 г. В 1901 г. принял монашество. Хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярославского в 1909 г. На этой кафедре пребывал много лет. В 1920–21 гг. назначен архиепископом Ростовским, викарием Ярославским. В 1928 г., будучи уже митрополитом Ленинградским, выступает против „Декларации” митр. Сергия и вместе с ярославскими архиереями подписывает акт отхода от него. Становится одним из руководителей движения непоминающих, получивших название „иосифлян”. Подвергался постоянным преследованиям. Сослан в Казахстан. Год смерти его неизвестен. Дата и место кончины владыки (1943 г., лагерь), обозначенные в рукописи З. В., заслуживают доверия, ибо, по всей вероятности, исходят от Натальи Дмитриевны Крыловой, следившей за судьбой своего наставника. Видно отрицательное отношение автора воспоминаний к „иосифлянству”, однако интересно отметить, что, хотя Зоя Вениаминовна всегда посещала действующие московские храмы, в доме у нее (в 30-е годы) был „катакомбный” храм, престол которого сожжен уже в 60-е годы при переезде. – Прим. автора вступления.

Ее Голгофа была мне не по силам и не по разуму. Сгорела эта яркая свеча 25/XI—1963 года в канун дня св. Иоанна Златоуста.

Хоронили ее торжественно, поминая как „схимонахиню Серафиму”*. Упокой, Господи, душу ее!

О себе она всегда говорила, что она счастлива в жизни.

А матушка Еванфия? Монастырь разогнали в 1927 году. Матушка умерла 76-ти лет от роду, уже живя на частной квартире. Однажды она мне приснилась. Звонок. Я открыла дверь и она вошла и сказала: „Помогайте отцу С.** и у вас все будет!” (Отец С. был в ссылке, и четверо детей остались сиротами.) Сон меня укрепил: ведь в эти 30-е годы опасно было помогать в лагерь.

А Лиза?

Я уехала из города в августе 1917 года. Разразилась в октябре революция. Я приехала в январе 1918 г. к отцу и навестила бывшую подругу. С красным бантом на стриженной голове (коса-то у нее какая была!), в яркой красной кофте она сидела за пианино и наигрывала какую-то веселую песенку.

„Ты так изменилась... А ты в Бога-то веруешь ли?” — все же спросила я. — „В Бога-то, пожалуй, и верую, но в вечную жизнь — нет! Да, я изменилась и мои убеждения совсем иные теперь...” — „Ты большевичка?” — „Да, пожалуй, что и так!” — „А Н. Д.? Ты у нее бываешь?” — Она покраснела: „Нет, нет!”

* Более подробно писать нельзя. — З. П. Речь идет о митр. Ленинградском Никодиме (Ротове), тогда епископе (хиротонисан во епископа в 1960 г.). Узнав о кончине Н. Д. К., он приехал на ее отпевание, привез с собой для покойной полное схимническое облачение. — Прим. автора вступления.

** Отец Сергей (Мечев). — З. П.

Революция пришла и в наше захолустье. Монахини рассказывали мне еще через год, что „Лиза обмеряла монастырь, ведь она здесь все знает и всех, и выселяла из монастыря монахинь”.

Узнала я, что при приеме в партию кто-то ей задал вопрос о ее вере и она сказала: „Я была под влиянием Крыловой Н. Д. тогда”, – и публично отреклась от веры (и от Натальи Дмитриевны)*.

Шли годы. Посетив Углич, я узнала, что Лиза „пошла в гору”. Потом в 30-х годах слышала о трагической смерти ее двух девочек; муж бросил. Она жила в Москве, училась, была политработником, дошла до членов Центр. КИМа.

Как-то по приезде к нам Н. Д. просила меня, чтобы я с ней поехала к Лизе, но я отказалась. „Это будет мое последнее свидание с ней” – просила Н. Д. Но это был 38-й год. Было опасно ехать к недругу, и я отказалась. Был слух, что Лиза погибла при „культе личности”. Как хочется верить, что она перед смертью покаялась. Провидел монах ее дорогу! Увидел в ней врага веры христианской...

Господи, прости прегрешения и отречения, и мученическую смерть прими как искупление! Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!

* Лет через 25 я как-то услышала от Н. Д.: „Лиза как дочь мне, я ее родила, я ее люблю”. И разговор навсегда был окончен. Ни слова осуждения. – З. П.

СОКРОВИЩА ВВЕДЕНСКИХ ГОР

*„К святым, которые на земле,
и к дивным Твоим, — к ним все
желание мое”.*

Сокровища Введенских гор — это не те сокровища, какие ищут геологи в горах, не золото, не драгоценные камни, не алмазы. Сокровища Введенских гор — это могилы. Могилы людей высокой духовной жизни, просиявших в потемках истории нашей родной страны, среди смут, неурядиц и человеческой жестокости.

Приходя поклониться могилам этих людей, мы обретаем в благодарном сердце живую память о них, прикасаемся к неумирающей силе их души, к животворящей красоте и святости их образа. Происходит поистине благодатное, окрыляющее нас общение с дорогими усопшими.

Вот какие сокровища хранят в себе Введенские горы. По независящим обстоятельствам здесь пришлось описать только небольшую часть их.

Введенские горы — это бывшее, так называемое Немецкое кладбище в Москве, первоначально предназначенное для погребения христиан инославных исповеданий (католиков, лютеран и пр.). В хронике евангельской общины в Москве сказано, что возвышенное место за военным госпиталем закреплено за Немецким кладбищем по указу Екатерины II в

Найдено в Самиздате. По всей вероятности рукопись принадлежит перу покойного поэта А. А. Солодовникова, стихи которого опубликованы в „Надежде” № 5.

1772 году. Книга протоколов кладбищенского комитета стала вестись с 1865 года. Каменные ворота с башнями построены в 1865 году.

После Октябрьской революции, в 20-х годах, на этом кладбище, как на самом по тем годам разрухи упорядоченном, стали хоронить без различия исповеданий. С тех пор это кладбище становится одним из любимых в Москве. Целое созвездие замечательных пастырей московских церквей погребено на этом кладбище. Прогулка по его тенистым аллеям волеет в нас телесную бодрость и наполнит душу светом веры.

Войдя через главные ворота, направимся по так называемой Старой главной аллее. Близ значка 3-го участка, немного не дойдя до памятника Д. Е. Гендлера, который окажется у нас справа, свертываем по тропинке налево, и вскоре у дерева увидим крест с надписью:

1. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Он не принадлежит к духовенству, но его жизнь отмечена примерами горячей веры и явными проявлениями помощи Божией.

Он родился в Москве. В молодости был начинающим писателем. Его вступление в литературу сопровождалось ярким успехом. Он был принят в члены Телешковской „среды”, дружил с видным представителем московских литературных кругов И. Белосовым, в доме которого встречался с Л. Андреевым, И. Буниным, Б. Зайцевым, И. Шмелевым и другими крупными писателями.

Жизненный путь его, хотя и протекавший в крайне суровых условиях, так как Александр Александр-

рович был в 1948 году арестован и в течение 8 лет до самой реабилитации содержался в заключении далеко от родных мест, явно находился под покровом Божией Матери. Уже одно то, что он был духовным сыном о. Алексея Мечева, испытал силу руководства этого великого отца, явилось для него огромным счастьем.

Вернувшись в Москву больным стариком, Александр Александрович всю сохранившуюся в нем энергию употребил на то, чтобы описать в особой книге* все удивительные, испытанные им случаи проявления помощи Божией: услышанных молитв, чудесных исцелений, безвредных прохождений сквозь самые безвыходные положения...

А. А. Добровольский умер в 1964 году...

От могилы А. А. Добровольского выходим снова на главную аллею и двигаемся по ней дальше. Когда дойдем до столбов, обозначающих с одной стороны 5-й, а с другой стороны 7-й и 8-й участки, свернем налево по тропинке. Слева у нас окажется угловой памятник композитора Василенко. Пройдя почти до конца по этой тропинке, увидим с правой стороны крест с надписью:

2. ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ СВЕНЦИЦКИЙ

(1879 – 1931)

В. П. Свенцицкий — один из ярких представителей московского духовенства смутных и трудных для Церкви десятилетий 20-х и 30-х годов. Он родился в Казани в 1879 г. Рос в высокоинтеллигент-

* См. рассказы А. Добровольского из книги „Десять мин” в этом выпуске „Надежды”.

ной семье. Развитию религиозных вопросов у мальчика способствовал гимназический законоучитель Молчанов о. Алексей (будущий экзарх Грузии). После 4-го класса В. П. перешел в 1-ю московскую гимназию. Пятнадцатилетним мальчиком он уже читал лекции о расколе, о Вл. С. Соловьеве. Знакомится с философами кн. С. Н. Трубецким и С. Н. Булгаковым. Сдает экзамены за гимназический курс и поступает на филологический факультет Московского университета. Вместе с ректором университета С. Н. Трубецким организует студенческий религиозный кружок. Сотрудничает в целом ряде газет. К этому времени открывается Религиозно-философское общество имени Соловьева. В. П. Свенцицкий деятельно участвует в журнале „Вопросы религии”, пишет книги. Переходит на юридический факультет Петербургского университета.

С юности он занят основными вопросами человеческого бытия. Смерть бабушки заронила в нем еще в раннем детстве мысли о смерти и с тех пор он неразлучен в ними.

Приблизительно в 1915 году он едет на Кавказ для знакомства с жизнью кавказских отшельников и пишет книгу „Граждане неба”. За другую свою книгу „Второе распятие”, незадолго до революции, он был судим и вынужден был уехать в Париж, где прожил в эмиграции до революции. В 1917 году вернулся в Россию и принял священство.

Натура горячая и деятельная, он в 1919 году переехал из Петрограда в Москву, был арестован за свою речь в Крестовоздвиженском монастыре, в которой утверждал, что Красную церковь поддерживает правительство. Был выслан в Казахстан.

В 1925 году вернулся из первой ссылки. Стал служить в храме св. Панкратия близ Сухаревой башни и вести еженедельные беседы о св. отцах Церкви: о пр. Ефреме Сирине, Иоанне Лествичнике, пр. Антонии Великом, о посте. По воскресеньям стал посвящать беседы евангельским текстам. Выступал против общей исповеди*. Пишет книгу „Тайное поучение” (о молитве Иисусовой).

В 1926 году организует и возглавляет паломничество в Саров и Дивеево. Был у блаженной Марии Ивановны. В ответ на вопрос о переходе в другой храм, блаженная сказала: „Перейдешь, большой крест будет”. Так и случилось. Отец Валентин стал настоятелем храма Николы „Большой крест” на Ильинке. В 1935 г. этот великолепный храм сказочной красоты, одетый в каменное кружево, с синими в звездах куполами, был сравнен с землей. (М. В. Алпатов. Всеобщая история искусства, т. III, изд. Искусство. М. 1955 г. иллюстрации № 184 и 185).

Начались ежедневные вечерние и утренние службы, иногда уставные, ночные. Все беседы были проникнуты главной идеей — „Монастырь в миру**”. Вводится ежедневная индивидуальная исповедь, частое причащение святых Христовых Тайн. Образуется община о. Валентина. Пишет замечательную книгу „Диалоги”, получившую широкое распространение.

В 1928 году о. Валентин был снова арестован и выслан в Сибирь, в Канский округ на поселение на 3 года. Главным поводом для этого послужило его

* См. „Надежду” № 2.

** Отрывки из этой работы напечатаны в „Надежде № 5.

несогласие с митрополитом Сергием. Однако, предвидя свою кончину и испытывая великую тревогу совести перед св. Церковью, о. Валентин обратился к митр. Сергию с покаянным посланием и на свое обращение получил полное разрешение.

7/20 октября 1931 г. в день святых мучеников Сергия и Вакха, после тяжелой болезни о. Валентин скончался в присутствии жены и сестры жены. Через месяц тело его было привезено в Москву. В засмоленном гробу тело его было внесено в церковь „Троицы на листах” близ Сухаревой башни, где был совершен парастас и отпевание в сослужении преосв. Питирима и преосв. Варфоломея. С благословения преосв. Питирима был снят покров с лица покойного, причем не оказалось никаких следов тления, несмотря на прошедшее со дня смерти длительное время.

Тело о. Валентина сначала было похоронено на Пятницком кладбище, а затем перенесено на Немецкое.

Вернемся на главную аллею и пойдем по ней дальше. Немного не доходя до пересечения главной аллеи с асфальтированной поперечной, на 10 участке справа будет ограда, увешанная цепями и кандалами, а за оградой крест, установленный на валуне. Это могила

3. ДОКТОРА ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА ГААЗА (1780 – 1853)

Доктор Гааз сделал в своей жизни столько добра, что могила этого одинокого старика-чужестранца почитается у нас как самая дорогая, родная могила.

Началось второе столетие со дня его кончины в 1853 г., но на его могилу люди не забывают приносить цветы или осенние листья, а весной пасхальные яйца. Ограда его могилы украшена каторжными цепями в знак того, что здесь лежит великий друг и защитник заключенных. Он принял на себя защиту этих несчастных в годы нечеловечески жестокого обращения с ними, когда ссыльных и каторжан гоняли по этапу в Сибирь пешком партиями, прикованными вереницей к железному пруту. Иногда на шею каторжникам надевали железный обруч, с торчащими во все стороны длинными иглами, не позволявшими приклонить голову и уснуть.

Ф. П. Гааз восстал против такого обращения с людьми, нарушившими закон. Он провозгласил, что наказание, при всей суровости, не должно проявляться в жестокости, что преступник — это человек несчастный, вызывающий жалость и сострадание, что признание больному необходимо. Он был убежден, что преступление чаще всего бывает несчастьем, следствием порока и нищеты, отображением окружающих человека среды и невежества.

Гааз вступил в жестокую борьбу против несправедливости по отношению к заключенным. Его не останавливали ни столкновения с высшим начальством, ни канцелярские придирки, ни материальные затраты.

Родился он в 1870 г. в Германии, близ Кельна в католической семье. Высшее образование получил в Вене, где закончил медицинский факультет университета. Успешно вылечив одного русского вельможу — князя Репнина, — он по уговору своего благодарного пациента переселился в Россию, где быстро приобрел известность как талантливый врач. Успех

сопутствовал ему. Богатство и почести щедро текли ему навстречу. Вскоре у него появился собственный дом, лошади, экипажи. Он стал ездить в карете, открыл фабрику.

В то время Москвой управлял просвещенный, стремившийся к добру генерал-губернатор князь Д. В. Голицын, друг Гоголя, Белинского, поощрявший щедрую благотворительность. Он погребен в большой Михайловской церкви Донского монастыря.

По почину кн. Голицына в 1828 г. в Москве был торжественно открыт губернской тюремный комитет, в члены которого вошел митрополит московский Филарет и несколько врачей, в их числе и д-р Гааз.

Ознакомившись с положением заключенных в московских тюрьмах, д-р Гааз всю свою жизнь посвятил облегчению их участи.

И пошло все его богатство прахом. Продана фабрика, исчезли лошади, экипажи, дом. Когда в 1853 г. д-р Гааз умер, у него не оказалось денег на похороны и он был погребен на казенный счет, как бездомный нищий.

Настойчиво борясь за облегчение участи заключенных, д-р Гааз добился отмены прута, на котором водили заключенных по этапу, упрощения и облегчения кандалов, не позволял отправлять в этап больных арестантов, оставлял в Москве тех, кто ждал свидания с родными, отремонтировал за свой счет и благоустроил московские тюрьмы, оборудовал при них мастерские. Ни одна партия арестантов не отправлялась из Москвы без зоркого осмотра д-ра Гааза, который отставлял от этапа слабых и немощ-

ных и для этого вступал в борьбу с начальниками этапов.

Арестанты ждали его прихода „как Бога”. Звали его „святым доктором”, „Божим человеком”.

Начальствующие же лица, наоборот, с усмешкой кривили губы и называли д-ра Гааза „утрированным филантропом” и чудаком.

А этот чудака жил по правилу „Торопись делать добро”. „Высшее счастье заключается в том, чтобы делать людей счастливыми”.

Известны следующие случаи из жизни д-ра Гааза:

Однажды морозной ночью д-р Гааз шел глухим переулком к больному. Тут на него напали грабители, требуя, чтобы он отдал им свою шубу. Когда же они узнали, кто перед ними, то стали просить у него прощения, говоря: „Батюшка, Федор Петрович, что же ты нам сразу не сказал, что это ты? Вернули ему шубу и пошли его проводить... — Пойдем, мы тебя проводим, — говорили они, — чтобы тебя кто не обидел”.

А вот, что рассказывает доктор госпитальной клиники Московского университета проф. Навацкий.

„В 1853 г. ему привезли в Екатерининскую больницу 11-ти летнюю крестьянскую девочку, безнадежно больную редкой страшной болезнью — водяным раком... Никто не мог сидеть с несчастной девочкой. Даже родная мать не переносила тяжелого запаха, исходившего от ее наполовину съеденного раком лица. А д-р Гааз долгие часы сидел на ее койке и в порыве горячей жалости, целовал ее изуродованное личико”.

Известен разговор между д-ром Гаазом и митр.

Филаретом. Митрополиту наскучили частые ходатайства д-ра Гааза.

— Вы все говорите, — сказал он как-то Гаазу, — о невинно осужденных. Таких нет. Если человек подвержен каре, значит, за ним есть вина.

Гааз вскочил:

— Да вы о Христе забыли, Владыко! — с возмущением вскричал Гааз.

Все смутились. Таких вещей митрополиту еще никто не решался высказать. Ждали, что будет.

Но митр. Филарет молчал, опустив голову. Потом тихо сказал:

— Нет, Федор Петрович, когда я произносил свои слова, не я забыл о Христе, а Христос меня позабыл.

Таков человек был д-р Гааз.

Когда он умер в 1853 г. на похороны собралась масса народа — до 20.000 человек. Во избежание беспорядка, был послан отряд солдат. Но командир отряда, увидев настроение собравшихся, отпустил солдат, а сам, вмешавшись в толпу, пошел за гробом почившего.

4. ПРОТ. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Пройдя от могилы д-ра Гааза несколько шагов дальше до перекрестной дорожки, повернем направо и вскоре с левой стороны, миновав могилу артиста Максакова (памятник с изображением музыки) и могилу артиста Кудрявцева, рядом с могилой генерала Морозова мы увидим участок семьи Воскресенских, на котором погребен приснопамятный протоиерей Александр Георгиевич Воскресенский (1875—1950), заслуженный настоятель храма муч. Иоанна Воина на Б. Якиманке в Москве, один из

самых уважаемых и чтимых представителей московского духовенства.

Родился о. Александр под Москвой в Павловском Посаде в семье диакона. Окончив московскую семинарию в 1897 г. Еще будучи в семинарии, о. Александр уже принимал участие в богослужении — он был иподиаконом у о. ректора, а спустя год после окончания семинарии, он принимает священнический сан, в котором и прослужил непрерывно 52 года.

В молодые годы пастырское служение и законоучительство о. Александра было тесно связано с его общественной деятельностью. Знаменательными событиями в жизни его духовных детей в тот период явились организованные о. Александром паломнические поездки дважды в Саровскую пустынь и Дивеевский монастырь (1912 и 1913 гг.), в Киево-Печерскую Лавру и Черниговский монастырь в 1914 г. перед самой войной — специальными составами в количестве каждый раз около 500—600 человек, а также ряд подмосковных поездок в Берлюковскую пустынь, Николо-Угрешский монастырь и др.

Отца Александра любили и благоговейно почитали не только его прихожане, но и верующие всей Москвы, да и не только Москвы. Мягкий по характеру и чуткий к запросам человеческой души, он всех привлекал к себе теплотой и богатством своего внутреннего содержания. В его простых задушевных словах находили необходимую духовную поддержку и верующий интеллигент и простолюдин. Его чтили как теплого молитвенника перед Господом и как мудрого советника в житейских и духовных делах.

Отец Александр высоко ценил пастырское служение и всю силу его видел в благоговейном совершении богослужения и духовном руководстве паствой. Его духовный облик соответствовал его духовной настроенности. Он никогда, ни при каких обстоятельствах не снимал своей священнической рясы.

В течение более чем полувекового служения у престола Божия, о. Александр много трудился, не жалея своих сил и не считаясь со слабым здоровьем. В тяжелые для Церкви годы, он часто оставался без помощников, но ежедневно совершал литургию и, исполняя все требы, не отказывал никогда никому. Такой почти непосильный труд не тяготил о. Александра, напротив, он исполнял все с большой любовью. Присные батюшки часто поражались тому, что Великим постом батюшка пропускал по 1500 исповедников, читая над каждым из них разрешительную молитву, а потом каждого причащал из своих рук.

Любовь ко всем и ко всему — вот что было главным в его жизни. В каждом человеке он находил что-то хорошее, стараясь, чтобы оно заслонило и сделало невидимым плохое (плохих людей для о. Александра вообще не существовало.)

Его евангельскую любовь к ближним, прошедшую через всю его жизнь, ощутил на себе каждый, кому пришлось хоть один раз увидеть батюшку. Будучи необыкновенно добрым человеком, о. Александр всегда старался помочь нуждающимся и делился с ними всем, что имел. Скромность, смирение и кротость отличали его даже и среди своих собратий и в отношениях со всеми окружающими.

На первой неделе Великого поста, при чтении

мефимонов, о. Александр на всякий возглас „Помилуй, мя, Боже, помилуй мя!“ клал земной поклон и делал это постоянно до начала тяжелого сердечного заболевания.

Отец Александр был наделен от Бога даром прозорливости, но скрывал это ото всех. Теперь же, по прошествии долгого времени со дня его кончины, духовные дети пишут об этом в своих воспоминаниях. Они вспоминают, что за несколько дней до своей кончины, когда о. Александр был тяжело болен, он молился св. муч. Харлампию, которого очень почитал, и тот явился и сказал, что Господь дарует ему продление жизни, но придет время, когда он сам (св. муч. Харлампий) придет за ним. И, действительно, о. Александр скончался 23 февраля, в день памяти св. муч. Харлампия.

В начале войны, во время особо интенсивных налетов на Москву, батюшка жил на колокольне при храме. Близкие духовные дети зачастую оставались ночевать в храме, дабы быть возле батюшки. Как только объявлялась тревога, батюшка сходил с колокольни, вставал у главных дверей храма и все это время горячо, со слезами молился Господу, осеняя своим наперстным крестом то одну, то другую сторону. Особенно страшны были моменты приближения вражеского самолета, зловещий гул которого мы различали. Здесь батюшка особенно плакал и молил Господа, осеняя своим крестом, и мы слышали, как, пролетев мимо, самолет сбрасывал где-то недалеко фугасную бомбу. Кончалась тревога, мы отводили изнемогшего отца на колоколенку, куда он едва мог подняться, давали ему сердечные капли и укладывали в постель. Посидев

немного возле него, мы спускались вниз, в храм, и так коротали время до утра.

На похороны о. Александра собралось множество верующих в храме св. Иоанна Воина, и всем хотелось проститься со своим наставником и как бы возвратить ему ту любовь, которую в изобилии получали от него. Не только храм, но и церковная ограда не смогли вместить всех желающих проститься с ним. Накануне отпевания святейший патриарх Алексий, приезжая проститься с почившим о. Александром, произнес: „Ушел мой последний молитвенник!”

День похорон пришелся на воскресенье в неделю Православия. Отпевание совершал митр. Николай. В прощальном слове он охарактеризовал почившего, как выдающегося служителя Православия нашего времени в нашей стране.

Светлый образ о. Александра жив в сердцах его духовных детей и поныне, и как, живя на земле, он молился у престола Божия за всех, так духовные дети и теперь верят, что молитва его о пастве никогда не умолкнет у престола Всевышнего.

Теперь вернемся назад до перекрестка и снова пойдем вперед по главной аллее. Пройдя шагов 15, свернем налево на боковую тропинку и на ней, на расстоянии около 25 шагов слева, у первого большого дерева увидим мраморный крест на могиле известного и любимого москвичами

5. ПРОТОДИАКОНА МИХАИЛА КУЗЬМИЧА ХОЛМОГорова (1870–1951)

Он был обладателем великолепного голоса, замечательного баса тонкой музыкальности, чистой души и золотого сердца. Внешний облик его сохра-

нен для нас нар. художником П. Д. Коринным в прекрасном портрете из картины „Уходящая Русь”.

Внутренний мир Михаила Кузьмича передан в эпитафии, нарезанной на его памятнике:

Всю красоту, музыкальность, искусство
И голос прекрасный, что Бог тебе дал,
Ты с верой глубокой и радостным чувством
С амвона пред нами всегда изливал.

Выдающийся голос Михаила Кузьмича привлекал к нему внимание музыкальных кругов Москвы. Его настойчиво звали учиться в филармонии, пророча блестящую оперную карьеру. Но Михаил Кузьмич считал своим призванием богослужение и твердо шел по своему пути. Он служил в царственно величественных храмах, таком, как храм Христа Спасителя в Москве, где достигал поистине византийского великолепия, участвуя в патриаршем богослужении. Но были длительные промежутки времени, когда он смиренно служил в маленькой церковке при Иерусалимском подворье в бывш. Филипповском (теперь Аксаковском) переулке, близ Арбата, где священником был монашески смиренный старец о. Иоанн.

Тем удивительней и красноречивей получалось богослужение от такого сочетания служителей. В последнее время он служил в церкви Никиты мученика на бывш. Старой Басманной.

Михаил Кузьмич жил в годы, когда тюрьма и арест грозили каждому. Поэтому он всегда ходил с чемоданчиком, готовый на все. Тюрьмы и ссылки он избежал, но сам много помогал семьям сосланных священников.

Поклонившись могилке М. К. Холмогорова, снова выходим на главную аллею и идем по ней, пока с левой стороны за несколькими рядами могил не заметим памятника с пропеллером. Здесь, свернув налево, мы пойдем к черному памятнику с крестом. В ограде этого памятника находится могила девяностолетнего прозорливого

6. СТАРЦА ЗОСИМЫ,

архимандрита, духовника патр. Алексия, стоявшего у мощей святителя московского митрополита Алексия.

Он приехал из Болгарии в конце 90-х годов XIX века, поступил в Чудов монастырь и был там гробовым у мощей св. о. Алексия.

В советское время служил штатным иеромонахом Елоховского собора. Жил на частной квартире в рабочем общежитии, где его приютила в уголке старая работница Наталия.

Вернемся на главную аллею и пойдем по ней дальше. Дойдя почти до конца ее, оставим справа памятник в виде черной плиты, на фоне которого высечена фигура женщины, скорбно заломившей руки, — остановимся, отойдем восемь шагов назад и, поднявшись по каменной ступеньке, двинемся по тропинке, отходящей от главной аллеи направо.

Дойдя до того места, где справа будут могилы артисток Высоцкой и Волконской, мы увидим почти напротив них с левой стороны тропинки на участке Висконти крест на могиле:

7. СТАРЦА СХИАРХИМАНДРИТА ЗАХАРИИ (ЗОСИМЫ) *
(1850 – 1936)

В один из дней 1934 года митр. Трифон (Туркестанов), любимый и почитаемый всеми в Москве, приехал совершать богослужение в храм Большого Вознесения на бывш. Никитской, ныне ул. Герцена. После всенощной митр. Трифон обратился к молящимся с предложением всенародно помолиться о здравии тяжело болящего старца Захарии.

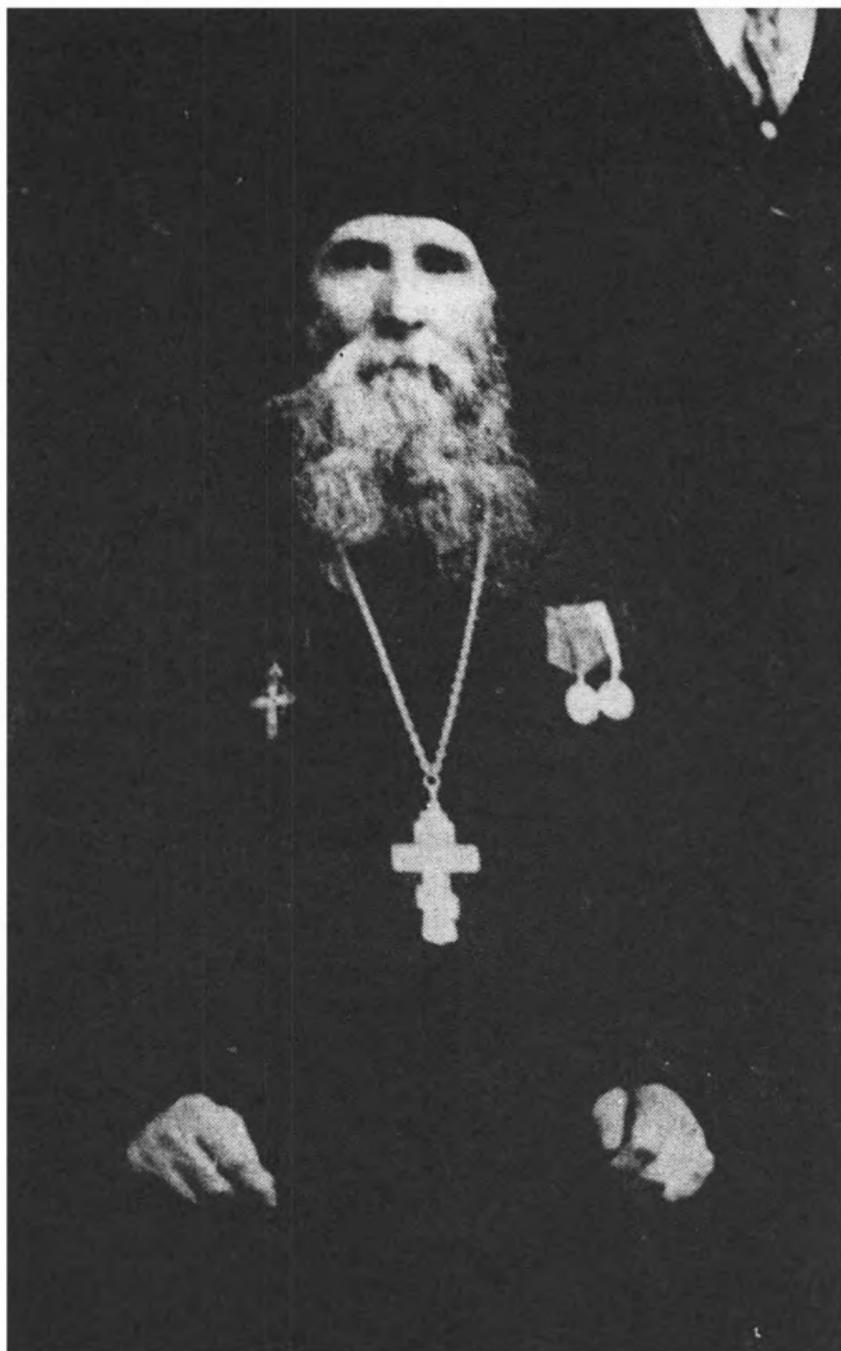
— Братия и сестры, — сказал он, — я думаю, что мало кто из вас знает этого великого многострадального старца. Вкратце расскажу вам о нем.

Было в моей жизни такое трудное время, когда еще молодым архимандритом, живя в Петербурге, я впал в ужасное состояние и дошел до того, что хотел снять с себя сан. Мне посоветовали познакомиться с неким иноком Зосимой (в будущем Захарией), прибывшим в Петербург из Троице-Сергиевой Лавры для сбора. Якобы он не простой человек. Я послушался этого совета и после ночной беседы с о. Зосимой совершенно исцелился духовно и благодаря ему стал тем, что есть.

После этих слов весь народ пал на колени и был отслужен соборный молебен о здравии болящего старца. Этот молебен совершил Чудо. Безнадежно больной старец воспрянул и поправился.

Он происходил из крестьянской семьи. Родился он в 1850 г. под открытым небом в поле, где его мать работала до последней минуты. Он не учился грамоте. С ранних лет его тянуло к монашеской жизни. Несмотря на нежелание отца, при явном покровительстве Матери Божией, по благослове-

* См. воспоминания о нем в „Надежде” № 4.



Схиархимандрит Захария (Зосима)

нию оптинского старца Амвросия, он юношей поступил в монастырь „Белые берега”, но по болезни был вынужден уйти оттуда. Некоторое время он жил в лесу учеником отшельника, старца Даниила, и затем поступил в Троице-Сергиеву Лавру. Пришел он туда на самое тяжелое послушание – в хлебную, где в сутки выпекалось 110 пудов хлеба. С этого начались его скорби.

Однажды его до полусмерти избил бывший каторжник, скрывавшийся под личиной монаха. Избил так жестоко, что 23-х летний Захария потерял почти все зубы и стал совсем немощным. Долго после этого лежал он в больнице. С трудом поправившись, он в 1875 г. получил послушание стоять у раки преп. Сергия. Через три года, в 1878 г. получил рясофор с именем Зосимы. В 1880 году был послан на два года в Петербург по сбору. Здесь произошло его знаменательное знакомство с архимандритом (будущим митрополитом) Трифоном. Вернувшись в 1882 г. из Петербурга в Лавру, он еще много лет выполнял разные послушания до 1912 г., когда был посвящен в сан архимандрита, впоследствии в схиархимандрита Захарию. После этого он стал духовником Троице-Сергиевой Лавры и с терпением переносил выпадавшие на его долю скорби.

Не взлюбило его монастырское начальство за то, что старец Захария ревностно учил монахов нестяжательности и строго их обличал.

Старец все прощал и терпеливо молился за своих обидчиков. Он продолжал нести подвиг духовничества среди всех скорбей вплоть до закрытия Лавры. Он был последним монахом, вышедшим из ворот Лавры после того, как они перестали быть вратами Лавры.

Оставив Лавру старец Захария жил в Москве на Тверской, где во дворе еще не было закрыто подворье Саввинского монастыря. Когда старец совсем ослаб, нашлась одна из духовных дочерей его Агрипина, которая взяла на себя труд по уходу за старцем. Здоровье старца все ухудшалось и вот, предчувствуя свою кончину, он стал мысленно призывать к себе своего друга, митрополита Трифона. Тот услышал его зов и, к удивлению окружающих больного старца, вскоре приехал иподиакон с извещением о скором прибытии митрополита.

По молитвам митрополита, совершившего соборный молебен о здравии тяжело болящего старца, Захария поправился и на два года пережил митрополита. Старец Захария скончался 2/15 июня 1936 г. и погребен на Немецком кладбище на участке Екатерины Андреевны Висконти.

Екатерина Андреевна Висконти не была православной, но любила ходить в православные храмы. Как-то раз, находясь в состоянии тяжелой скорби, ей пришлось побеседовать с выдающимся пастырем о. Александром Зверевым — настоятелем церкви в Звонарях на ул. Жданова. Он предложил Екатерине Андреевне познакомиться с великим старцем, которого зовут Захарией и который живет в Москве. После этого знакомства Екатерина приняла православие.

Однажды Екатерина Андреевна, еще не будучи православной, увидела сон, будто в ограде ее участка на Немецком кладбище толпился народ и стоял там какой-то старец схимонах, к которому все тянутся, все протягивают руки и просят о чем-то. Через некоторое время Екатерина Андреевна познакомилась со старцем Захарией и после его кончи-

ны предложила положить его тело на своем участке...

Двигаясь дальше по тропинке от могилы о. Захарии, дойдем вплоть до забора, повернем направо до конца его. От самого угла забора повернем направо и пойдём по тропинке. Пройдя около 45 шагов, увидим справа, позади памятника Нины Гантарь и Киргоф, за железной оградой беломраморный памятник, увенчанный маленьким крестом.

8. ЭТО МОГИЛА О. АЛЕКСИЯ МЕЧЁВА

Епископ Арсений, бывший настоятель Чудова монастыря в Кремле, в своих записках о выдающихся пастырях Москвы, так пишет об о. Алексии.

„Кто-то рекомендовал мне обратить внимание на храм св. Николая в Кленниках на Маросейке. Там, говорили мне, вы найдете иерея маленького роста с благостным лицом, приковывающего к себе сердца многих молитвенным настроением, умением давать полезные советы не только духовные, но и житейские, а главное, поражающего лаской, отеческой любовью.

Первые 8 лет он служил при пустом храме, не смущаясь, и постепенно храм стал переполненным молящимися, о нем заговорила вся Москва.

Родился о. Алексей как бы по благословению митр. Филарета, а когда в зрелом возрасте познал тяжесть горя, то прот. И. Сергиев в ответ на его жалобы сказал: „Ты думаешь, что нет на свете горя большего, чем у тебя. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми на себя и увидишь, как твое горе мало по сравнению с общим горем”.

Разгрузка чужого горя и молитва явились общим фундаментом, на котором построилась вся его пастырская деятельность. Батюшка о. Алексей был великим старцем, перегрузчиком чужих страданий на собственные плечи.

Проскомидию он совершал часа полтора и даже больше, вычитывая целые тетради имен, а задравная ектенья превращалась в целый поток молитв, плескавшийся бесчисленными именами болящих, скорбящих, заблудших, заключенных, без вести пропавших, путешествующих, страждущих.

Он отличался необыкновенной простотой, не любил умствований, отвлеченностей, особенно в религиозных сочинениях и разговорах. Отказывался их выслушивать, говорил: „Я неграмотный”.

Он отличался любвеобильностью, жалением всех, не требовал особых подвигов, вносил в каждую душу бесконечную надежду на милость Божию. Каждому казалось, что Батюшка любит его больше всех.

Он обладал здравым смыслом и пронизательным умом, что дало ему возможность развить в себе большой духовный опыт, помогавший ему лечить греховные язвы людей. На том же духовном опыте была основана его прозорливость. Он не только понимал и видел чужую жизнь, но способен был находить ее разгадку, неведомую часто и самому пришедшему.

Прежде всего он требовал покаяния. В образе иерея он был одним из тех подвижников, о которых пророчествовал св. Антоний Великий, говоря, что придет время, когда иноки, живя в миру, среди городов и суеты мирской будут сами спасаться и дру-

гих приводить к Богу. Это был как бы Оптинский старец, живущий в Москве.

Деятельность его особенно развилась в тяжелое время, когда в обществе понизились религиозные интересы. Он призывал к деятельной любви, к простоте, к прощению обид.

Батюшка о. Алексей принадлежит к русским праведникам, ряд которых начинается с преп. Серафима Саровского, идет через Оптину пустынь и доходит до наших дней. Это тип старцев, озаренных тихим светом смиренного желания и любви ко всем страждущим.

Батюшка о. Алексей был целителем Серафимова типа. „Знание надмевает, а любовь созидает”. (1 Кор. 8, 1). Это любил говорить Батюшка. Очередь к нему на квартиру „труждающихся и обремененных” становилась с самого утра.

Религия не в успокоенном, блестяще скомбинированном докторами разуме, а в деятельной любви, в служении ближним. Не любящий брата своего, как может любить Бога, Которого не видел? (Иоанн. 4, 20). Любовь есть энергия и двигатель христианства, а разум есть только рабочая сила. Эти слова любил повторять Батюшка.

Рядом с могилой о. Алексия Мечёва находится крест с надписью:

ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА МАРДЖАНИШВИЛИ

Это могила матушки Фамарь.

9. МАТУШКА ФАМАРЬ (I. IV. 1869 – 10. IV. 1936)

Есть у художника П. Д. Корина в серии „Уходящая Русь” портрет „Игуменьи”. На нем изо-

бражена старая женщина, пронизанная необычайной, удивительной силой. Это и есть матушка Фамарь, настоятельница б. Серафимо-Знаменского скита.

Матушка Фамарь, в миру Тамара Александровна Маржданишвили родом была с Кавказа. Рано лишилась родителей, сначала отца, а потом 19-ти лет и матери. Осталась с младшей сестрой, испытывала большую тягу к искусству, отличалась редкой музыкальностью, обладала прекрасным голосом, мечтала о консерватории. Но, посетив однажды Георгиевский монастырь, где в числе монахинь была родная сестра ее матери, она, талантливая красавица, невеста одного из лучших женихов Грузии, решила поступить в монастырь. Родным удалось хитростью вернуть ее, но она все же сумела окончательно уехать в монастырь.

Большое влияние на духовное развитие матушки Фамари имела настоятельница, старица Ювеналия, позднее игуменья Елена, под руководством которой матушка Фамарь прожила в монастыре 14 лет. За эти годы она успела принять рясофор и к 28-ми годам была уже пострижена в мантию. В 1902 г. игуменью Ювеналию перевели в Москву настоятельницей Рождественского монастыря. Матушка Фамарь прилагала все усилия, чтобы не быть разлученной со своей руководительницей, но ей не удалось уехать с Кавказа. Напротив, волею Экзарха Грузии она была назначена игуменией вместо уехавшей в Москву старицы Ювеналии.

Деятельностью матушки Фамарь руководили такие люди, как о. Иоанн С., старец Герман, иеро-

схимонах Анатолий и о. Алексей Зосимовский. Все они высоко ценили матушку Фамарь за ее серьезность, деловитость, строгое церковное направление и безукоризненную монашескую жизнь. Но главным своим покровителем матушка Фамарь всегда считала преп. Серафима Саровского, постоянную помощь которого она испытала в ряде самых замечательных случаев. Преподобный неизменно помогает ей в трудных обстоятельствах, избавляет от смертельных опасностей.

Так, однажды (27. XI. 1907 г.) матушка Фамарь во время деловой поездки из Тифлиса в монастырь подверглась вооруженному нападению и только чудом от преп. Серафима спаслась.

Вскоре она была переведена в Москву настоятельницей Покровской общины.

После своего чудесного избавления матушка Фамарь возгорелась большой верой и любовью к преп. Серафиму. Ее мечтой стало основать скит, где можно было бы создать для сестер обстановку, при которой легче было бы возрастать духовно и спастись о Господе, приобретая внутренний мир и радость в Духе Святом.

После переезда в Москву мечта эта стала осуществимой и в 1912 году 29.IX. недалеко от Москвы по Рязано-Уральской ж. д. в лесу был освящен для девиц скит во имя Знамения Божией Матери и преп. Серафима Саровского — Серафимо-Знаменский скит. Все в нем было устроено так, чтобы беспрепятственно могла развиваться благодатная духовная жизнь. Сам скит, поросший сосной и березой, с великолепными цветниками, необыкновенной тишиной и строго трудовым укладом жизни, прони-

занный молитвой, был как бы земным раем. В скитской стене была небольшая „лесная” калитка, названная так потому, что открывалась прямо в рощу и на дорожку, ведущую к кургану, около которого стояла икона преп. Серафима во весь рост, идущего с топориком на плече и с котомочкой за спиной. Икону можно было заметить от самой калитки и всякий, отворивший калитку получал впечатление, будто сам преп. Серафим Саровский идет к скиту. Это излюбленное место матушки Фамарь и сестер. Главным духовным руководителем скита был владыко Арсений Чудовский (Серпуховский).

В 1915 г. в день памяти св. Дмитрия Ростовского матушка Фамарь приняла схиму.

Но недолго просуществовал Серафимо-Знаменский скит. Осенью 1924 г. он был закрыт. После этого матушка Фамарь с двенадцатью сестрами жила близ станции Перхушково до 1930 года, сохраняя весь устав скитской жизни.

В 1931 году матушка Фамарь была арестована и заключена в Бутырскую тюрьму. Тут-то и проявилась со всей силой высота ее духа. О пребывании ее в Бутырской тюрьме известны рассказы товарищей по заключению. Матушка была всегда радостна, бодра, утешала и подбадривала других. По ночам, когда все в камере стихало, она молилась, стоя на коленях на нарах. Какая-то молодая накрашенная артистка крайне тяжело переносила свое заключение. Нервничала, часто шумно рыдала на всю камеру и тяжело действовала на окружение. Матушка подзвала ее к себе, усадила, стала расспрашивать о ее работе. Потом попросила артистку прочитать что-нибудь. Выслушала с большим вниманием и,

заметив, что чтение успокаивает и отвлекает артистку, стала ежедневно приглашать ее к себе и просила читать что-нибудь.

Огромно было влияние матушки на разнородные элементы камеры: интеллигенцию разных оттенков, заполнявшую тогда тюрьмы, троцкисток, оппозиционерок, евреек, уголовниц и пр. Одна проститутка начало было декламировать какую-то похабщину, но матушка сказала ей: „Друг мой, зачем ты так делаешь, я не буду любить тебя!” И так при этом на нее посмотрела, что проститутка прекратила свои демонстрации.

Все видели и знали, что матушка молилась ночами. Поэтому в короткие часы днем, когда она ложилась отдыхать, вся многоголосая в 50 человек камера берегла ее покой.

Когда матушка получила свой приговор — пять лет вольного поселения в Иркутской области, никто не забудет с какой твердостью уходила она, каким огнем горели ее чудесные глаза. Многие плакали. Все поселенцы камеры — политические, уголовные, воровки и проститутки, подходили к матушке под благословение, прощались и целовали ей руку.

Отбыв ссылку и вернувшись в Москву матушка уединенно жила на подмосковной даче при станции Пионерская Белорусско-Балтийской ж. д., окруженная ближайшими друзьями. Она кротко переносила свою мучительную болезнь — туберкулез горла и скончалась 10.VI.1936 г.

Сзади и слева от могилы матушки Фамарь находится могила одной замечательной искренней христианки, монахини

10. ОЛЬГИ СЕРАФИМОВНЫ ДЕФЕНДОВОЙ
(1884 – 1960)

Жили в Москве в наше сложное время три сестры христианки. Младшая Наталия посвятила себя воспитанию больного мальчика, брошенного родителями, средняя Мария, больная, терпеливо несла свое невольное затворничество, старшая Ольга отдалась служению ближним (она заведовала детским приютом).

Сложилось так, что она взяла на себя заботы по уходу за немощным, жившим в 1920 г. на покое в монастыре Николы Угрешы старцем митр. Макарием, великом постнике и молитвеннике. Когда в 1923 г. монастырь был закрыт и старец перешел на частную квартиру, Ольга Серафимовна продолжала ухаживать за ним вплоть до его смерти и похоронила его у алтаря местного сельского храма. Она не оставила его и после смерти. В 1956 г. по ее настойчивым напоминаниям тело покойного митрополита было перенесено в Троице-Сергиеву Лавру и похоронено под спудом в Успенском соборе.

После смерти старца Ольга Серафимовна посвятила себя уходу за своей окончательно занемогшей сестрой и помощи ближним. Она стремилась принести всем радость и поддержку. Начиная с детей в знакомых семьях, которым она на Рождество привозила в мешках елки, а елки в те годы были запрещены, до поддержки раскулаченных и лишенцев, для которых она по крохам выпрашивала у знакомых талоны на хлеб, крупу, сахар и тем спасала от голода. Она всем старалась помочь.

Сейчас, когда мы живем в изобилии, трудно себе представить, чего стоило выпрашивание 200 грам-

мов хлеба у тех, кто и сам был полуголодным. Как много силы духа надо было иметь, чтобы ободрять, утешать, на своей спине развозить узелки с помощью для нуждающихся. Ольга Серафимовна посещала политический Красный Крест и, благодаря знакомству с Е. Пешковой (бывш. женой Горького), делала передачи в Бутырскую тюрьму, где обычно до ссылки содержались заключенные священники. За эту помощь лишенцам Ольга Серафимовна сама пострадала. В 1932 г. она с сестрой попала в тюрьму и была приговорена к ссылке на 5 лет. Отборочной комиссией они обе были освобождены от ссылки по болезни.

В 1936 г., когда была объявлена всенародная перепись, где одним из вопросов был: „веруешь ли в Бога?“, Ольга Серафимовна не задумываясь ответила „Да“. Она считала счастьем, что ей дано исповедовать веру в Бога, и поздравляла знакомых и друзей с этой возможностью открыто исповедовать Бога.

После смерти своей сестры Ольга Серафимовна всецело отдалась помощи ближним, „наипаче своим по вере“. Особенно она поддерживала Глинскую пустынь и Лебедянский женский монастырь. Она собирала белье, одежду и переправляла все это почтовыми посылками в соседние деревни. Случалось, что отсылала по 25 посылок одновременно.

Одевалась Ольга Серафимовна очень просто и скромно. Белая кофточка, на голове косыночка. Черные часики на шнурке. Ела и пила только постное. Советовала не иметь секретов и тайн. „Нет ничего такого, что бы не сделалось явным“, — напоминала она.

В Москве жила она в Марьиной роще в 5-ти метровой комнате, среди склочных жильцов, которые искали в ней судью в своих ссорах и дразгах. За два года до ее смерти дом ее снесли и она получила комнату в новом доме с хорошими соседями.

Ольга Серафимовна была окружена заботой многих друзей и сама до последнего вздоха старалась всех обласкать, поддержать и ободрить. Начавшийся рак груди не удалось остановить повторными операциями. Ольга Серафимовна мирно скончалась 14/27 мая 1960 г. семидесяти шести лет, напутствованная Св. Тайнами. Приготовленный ею для себя на случай смерти мешочек с одеждой открыл всем, что она была манатийной монахиней Серафимой в тайном постриге.

В нескольких шагах дальше по тропинке за могилой Ольги Серафимовны можно найти крест на могиле

11. МАРИИ ИВАНОВНЫ СВЕТ, МОНАХИНИ

Подвиг ее состоял в том, что она неизменно, не пропуская ни одного дня в течение многих лет являлась во всякую погоду на определенное место на кладбище и кормила птиц, бездомных собак и кошек. Этих несчастных существ собиралось всегда множество, а в день ее похорон они тоже собрались, как бы для прощания. В этом состояло ее послушание по благословию о. Алексия Мечева.

Идя по тропинке в обратном направлении, выходим снова к углу забора и от него идем по аллее, называемой Большая Еловая. Двигаясь по ней пере-

сечем поперечную асфальтовую дорожку и, пройдя еще шагов 15, за могилой Е. А. Беляевой повернем налево, на вторую (считая от поперечной асфальтовой) земляную тропинку. Пройдем по ней еще около 30-ти шагов, увидим за железной оградой справа два белых креста на черном постаменте. Один из них стоит на могиле настоятеля церкви св. пророка Илии Обыденного на Остоженке (теперь Метростроевской) отца Александра Толгского.

12. О. АЛЕКСАНДР ТОЛГСКИЙ (1880–1962)

О. Александр родился в 1880 г. недалеко от Москвы в семье сельского священника. От отца он унаследовал исключительную музыкальность, любовь к церковной музыке, к древним распевам и глубокое понимание красоты богослужения. Учился о. Александр в Московском духовном училище, где ректором в то время был известный будущий митрополит, епископ Трифон.

Владыка Трифон в продолжение всех учебных лет выделял и любил о. Александра как ученика и за его исключительную музыкальность, нередко брал его с собой на духовные концерты. В 1923 г. о. Александр был рукоположен патриархом Тихоном сначала в диакона, а затем в сан священника и, прослужив некоторое время в разных храмах, в 1936 г. и до последних дней жизни был настоятелем храма св. пророка Илии в Обыденском переулке. У всех, кто его знал, неизгладимо остались в памяти неторопливость, торжественность и молитвенность служения Батюшки. Любимой его службой был еженедельный акафист перед чудотворной иконой

Божией Матери „Нечаянная Радость”, перенесенной в храм св. пророка Илии в 1944 г.

Вся его деятельность была направлена к тому, чтобы вносить в души людей свет веры Христовой, озарять сердца людей любовью к Богу и людям. Он постоянно напоминал о том, что быть членом Церкви — это великий дар, возлагающий на каждого верующего обязанность осуществления в своей жизни завета Христа: „Кому много дано, с того много и спросится”.

Отец Александр учил верующих быть носителями правды Христовой, созидающей души людей в жилище Духа Святого, вводящей их в царство праведности, мира и совершенной радости.

Последней его службой на земле была служба в пятницу на 5-й неделе Великого поста, в день Похвалы Пресвятой Богородицы перед иконой „Нечаянная Радость”.

Через день после этой службы, в воскресенье 15 апреля 1962 г. прочитав Правила перед совершением литургии, о. Александр внезапно скончался в 4 часа утра.

Вернувшись на Б. Еловую, пойдём дальше и, дойдя до четвертой земляной дорожки, (считая от поперечной асфальтовой), повернем налево и пойдём по этой дорожке. Пройдя мимо памятника с ангелом, мы увидим с левой стороны участок Лоренц. На этом участке средний крест стоит на могиле о. Николая Голубцова.

13. ОТЕЦ НИКОЛАЙ ГОЛУБЦОВ *

* См. Проповеди о. Николая, помещенные в этом выпуске „Надежды”.

О. Николай Голубцов родился 29.IX. /12.X. 1900 г. В 1920 г. поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную Академию. Был агрономом в течение 25-ти лет. Сдал экстерном курс семинарии. В 1949 г. был посвящен в сан священника, прослужил 14 лет, умер 20.IX.1962 г.

Один из духовных детей о. Николая так рисует его духовный образ:

„Есть люди, с представлением о которых как-то совсем не мирится понятие смерти. Когда они умирают, хочется сказать: „Это невозможно!“ Это люди, вся жизнь которых была поддержкой и опорой для других, люди большой и деятельной любви, теплом и светом которой питалось и направлялось множество душ. К таким людям принадлежит о. Николай Голубцов”.

Это был действительно „пастырь добрый”, отдавший всего себя заботе о своих многочисленных церковных детях. Их было множество во всех концах Москвы. Люди, со всеми запутанными узлами житейских дел и напастей, со всеми скорбями и болями душевной и физической жизни ехали к нему. А он со всеми был ровен, со всеми тих, ко всем совершенно откровенный, каждого принимал, как будто он только и ждал этого его прихода, чтобы отдать ему всю свою щедрость, свое драгоценное время и все душевные силы. „Всем он был, действительно, вся”. Может быть, в наше холодное и одинокое время именно эта душевная щедрость о. Николая, да и не только душевная щедрость, эта его раздача себя людям и поражала больше всего и больше всего привлекала к нему людей. Он мог, например, в Великий четверг, после обедни, на которой было чуть не тысяча причаст-

ников, ехать без всякого перерыва через всю Москву на метро и автобусах, чтобы навестить больных. А в этот день вечером чтение 12-ти Евангелий.

Эта черта о. Николая была постоянным свойством его души. Многие помнят, как еще задолго до принятия священства, работая в отделе русской библиографии сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ, он был совершенно таким же.

Когда кто-нибудь из сотрудников большого учреждения не справлялся со своим делом или был удручен каким-нибудь огорчением служебной или личной жизни, он неизменно слышал совет:

— Знаете что, сходите к Николаю Александровичу и все ему расскажите. Не стесняйтесь, он такой простой и отзывчивый. Он во всем вам поможет.

И люди шли к нему, сначала со страхом и стеснением, а потом легко и доверчиво. И так было в течение целого ряда лет. Поэтому о каждом сотруднике он знал многое и многим старался помочь и облегчить их жизнь. Известны случаи, что в период Отечественной войны он умудрялся до работы утром привезти на санках напиленных и мелко нарубленных дров на квартиру одиноким и больным товарищам.

Приняв священство и прощаясь со своими сослуживцами по библиотеке, собравшимися по случаю отпевания одной из них, Николай Александрович сказал, что переменял „род работы”, стремясь еще усерднее послужить людям, что нашел то, „чего искала душа”. Говорил он тогда также о том, как он жалеет, что не все могут понять и ощутить какое утешение приносит вера в Бога и какую исцеляю-

щую силу имеет благодать Божия для всех самых страшных страданий человека. Сказал он также о том, что вера действенна в каждом и доступна каждому, но ощутить себя вечным, ощутить свое бессмертие может только человек, принявший Святые Тайны.

Неся свое священство и духовничество, о. Николай никогда не подчеркивал в себе нарочитой духовности. Он был прост и в своем служении в храме, и в своем руководстве людьми. Он был „кроток и смирен сердцем”. Но именно благодаря его смирению в нем чувствовался человек, несущий духовную власть. Тут Тайна Божия. Чем сильнее человек забывает себя, тем ясней начинает проступать в нем благодать.

Людей поражало мирное устройство его души. Это казалось невероятным в наше время и ощущалось как самое нужное. В мире всего больше нуждается человечество и в людях душевного мира всего больше нуждается мир. Как-то он мне сказал: „Надо говорить о мире и смирении — это слова одного корня”.

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил...

Я несколько раз вспоминал эти апостольские слова еще при его жизни, когда думал о его почти ежедневном „течении” в туннелях метро от Измайлова до Донской. Это был поистине „подвиг добрый” и драгоценный для многих душ.

Многим стало холоднее жить в этом мире после его смерти. Это так и надо сказать и через это надо пройти, чтобы еще глубже и настойчивее входить в область веры, в неисчерпаемое тепло благодати Божией”.

Так писал про о. Николая Голубцова один из глубоко верующих и искренних людей.

Возвращаемся от этой могилы опять на Б. Еловую и идем дальше. Когда слева окажется черная плита с белым профилем Тартакова, а справа мы увидим памятник Аксенову, повернем по тропинке направо. Вскоре слева мы увидим маленький, укороченный снизу мраморный крест на могиле

14. НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАРЕНЦОВА

Он был человеком необыкновенной судьбы. До революции крупнейший промышленник, сумевший отстоять судьбу русского среднеазиатского хлопководства от попыток американцев демпингом задуть его, обладатель 11-ти миллионного состояния, он после революции лишился всего и стал в полном смысле слова нищим. Замечательно в нем то, что он не утратил ясности души, все принимал с благодарением и умер, твердя: „Слава Богу”.

Одной женщине, собиравшей для него белье, одежду и продовольствие, он говорил: „Через вас Бог сподобил познать любовь Его ко мне. Слава Богу!”

Время свое он проводил за чтением духовных книг и за молитвой с четками в руках.

Пойдем дальше по Большой Еловой и, не доходя трех шагов до памятника ген.-майору Гвоздиевскому (белый силуэт на черной плите), у памятника Болдыреву, повернем налево. С левой стороны, за белой железной оградой увидим белый мраморный крест на могиле

15. МИТРОПОЛИТА ТРИФОНА (1861–1934)

Некоторым впечатлениям детства присущи некоторая живучесть и способность определять поворотные пути развития человеческой души. Смело могу сказать, что одно из служений еп. Трифона (будущего митрополита) в 1906 или 1907 году в нашем школьном храме (сред. уч. завед. Моск. Практ. Акад. коммерческих наук) на всю жизнь запечатлелось в моем сердце. Его необыкновенные глаза, большие, темные, мерцающие, излучающие какую-то грустную ласку, его проникновенный голос и весь облик в монашеском облачении и ниспадающей мантии, его живая беседа о только что прославленном в то время преп. Серафиме Саровском, в целом глубоко волновало душу. Каждому из нас, учеников, он вручил художественно написанный образок преп. Серафима и благословлял им. До войны 1941 г. у меня бережно хранилась эта икона и только в сумятице военных лет она потерялась.

Происходил митрополит Трифон из семьи князей Туркестановых. В ранние годы приняв монашество, он сравнительно быстро стал епископом и завоевал большой авторитет и любовь православной Церкви Москвы. Будучи глубоко религиозным, он был проникнут духом подвига и сострадательной любви. Одно время иеромонахом он посещал заключенных в темницах, утешал, исповедуя и причащая их. Его высокая образованность, поэтическая, художественная чуткость создали ему огромный авторитет среди московской интеллигенции, среди артистов, художников и деятелей искусства. Известно, что приглашался он на похороны деятелей искусств

и пользовался заслуженной славой ценителя культурных ценностей человечества.

Утонченный по культуре, весь проникнутый стремлением к Богу, он вдохновенно служил литургию. С каким-то особенно торжественным и величественным чувством он произносил архиерейские возгласы с неповторимой интонацией, устремив к небу свои удивительные глаза, говорил: „Призри с высоты, Боже, и виждь, и посети виноград сей, его же насади десница Твоя!“ Так же вдохновенно звучал его голос во время Трисвятого.

Невысокого роста, весь охваченный духовным устремлением, с вдохновенно сияющими глазами, он совершал литургию, как высшее служение Богу. Трепет и глубина смирения невольно охватывали всех присутствующих. Этот духовный подъем запечатлелся в глубоком по своему содержанию портрете митр. Трифона, созданным П. Д. Кориным. Не зная митр. Трифона этот портрет может показаться не совсем удачным. Но кто знал его, тот в этом портрете найдет отображение тех высоких духовных переживаний, которые характерны были для него.

Удивительно было в митр. Трифоне сочетание тонкой одухотворенности, интеллигентности и пламенной устремленности к Богу. Ему принадлежат очень глубокие по содержанию и художественные по форме акафисты и молитвы. Ему приписывается например, дивные акафисты „Хвала Творцу“ и заупокойный.

Долгие годы он был светильником московской Церкви, привязавшим к себе сердца многочисленных верующих и завещавшим любить храм Божий как проявление неба на земле...

ДЕСЯТЬ МИН *

Сережа

„Да будет воля Твоя”

Сережа был младшим и последним мальчиком в нашей семье.

Семья наша была большая. Жизнь старших детей имела свои отличия от жизни нас — младших. У них были свои интересы, свои друзья, свои развлечения. Их жизнь и территориально была другая. И Леонид и Варя имели свои отдельные комнаты, в то время, как мы — четверо мальчиков, помещались в одной общей „детской”. Все четверо мы были „москвичи”, так как родились в Москве (Леонид родился в Харькове) и „восьмидесятники”: Миша родился в 1882 г., Костя в 1884, я в 1886 г. Даже наши кровати были примкнуты одна к другой. И долго, даже до самых студенческих лет, мы спали на кроватях, поставленных рядом. Разница в годах между нами как-то стиралась. Посторонние даже обычно принимали за старшего Сережу. Он был крупный серьезный, я же очень маленький, больше похожий на девочку, очень смешливый;

* Александр Добровольский. Десять мин (Сборник рассказов). — Москва: Самиздат, 1961. Печатаются отдельные рассказы.

мама звала меня „пустосмешкой”. „Покажи ему утром палец, — говорила она, — и он будет весь день смеяться”.

Если я был к Сереже очень привязан и с удовольствием уступал ему свои игрушки и картинки, когда они ему нравились, то и его жизнь была прямо как-то переполнена мною. Все, что случалось со мною, он включал в свою собственную жизнь. Сохранились его детские дневники, которые он вел с 9-ти лет. Это очень короткие записи „событий” одного дня. И всегда они строятся на соединении — „Я и Саша”.

1 февраля: Встал в 18 минут седьмого. Ходил в гимназию. Саша в гимназию не ходил.

12 февраля: Ходил в гимназию. У Сашиной кровати сломалась ножка.

Или летние записи:

4 июня: ходил купаться. Саша купаться не ходил.

8 июня: Я и Саша ловили рыбу. Поймали — я одну, Саша десять. Из них одна моя и две Сашиных рыбки убежали.

12 июня: Ходил купаться. Саша свалился в воду и весь промок.

И вот случилось, что в нашу жизнь вошло что-то непонятное, страшное и тяжелое. Кончились его записи во сколько минут какого часа он встал, когда пошел в гимназию и что случилось с Сашей.

Наши кровати отделили. Меня перевели в Варину комнату. Мама сказала мне, что Сережа болен, чтобы я не подходил к нему и не беспокоил его. Я стучал и старался поглядеть на Сережу. Мне сказали, что у него воспаление легких, что это очень тяжелая болезнь и чтобы я больше теперь молился за Сережу Богу.

Как стало скучно в доме. Точно все прятались. Не говорили громко. И вот наступил один вечер. Было уже темно, зажгли лампы. Но куда-то все пропали. Я прошмыгнул к Сереже и встал около него. Никого больше не было. Я смотрел на него, и чем больше я смотрел на него, тем мне делалось страшнее. Сережа меня не видел. Его глаза были открыты, но они ничего не видели. Он не дышал, а хрипел. Я не мог больше смотреть и стал отходить от него. Мне стало страшно быть одному. Мне надо было кого-нибудь увидеть. Я пошел в коридор и оттуда в гостиную. Она была темной, но в кабинете у папы горел свет, и дверь туда была приоткрыта. Все еще подавленный страхом, с каким я отошел от Сережи, я тихо подошел к двери. Я увидел папу и маму. Папа сидел в кресле перед своим столом, мама сбоку на стуле, около лампы. Мама плакала. Они говорили о Сереже. Мама говорила, закрывая лицо руками, что Сережа умирает, она все плакала.

Вдруг отец сказал: „Ну, что же теперь плакать! Надо подумать о том, как и где заказать гроб”, и он придвинул к себе счеты и правой рукой стал на них щелкать.

Меня охватил такой ужас, что я убежал. „Сережа умирает, Сережа умирает!”

Я прибежал к себе, в пустую Варину комнату и упал на пол перед Вариной иконой Казанской Божией Матери. Я даже не молился, а только рыдал. Потом из моего отчаяния стали складываться бессвязные слова-молитва. Не подымаясь с колен, я все просил:

„Господи, Господи, пусть Сережа не умрет. Господи, сделай, чтобы он стал здоровым, чтобы он не умер!”

Я видел только икону Божией Матери. Все остальное пропало. Я не понимал, когда я начал молиться, сколько прошло времени, есть ли еще кто где. Я подымал голову и опять склонялся в плаче и отчаянии. Я уставал, но стоило мне на секунду приостановить свои просьбы к Богу, как я задыхался от ужаса и опять просил, просил...

„Господи, Господи! скажи, чтобы Сережа не умер!”

Наконец, я изнемог. Я поднялся с пола. Я едва ступал. Ноги не держали меня... Я пошел к свету, к Вариному столу. На столе перед лампой лежало Евангелие. Я безотчетно раскрыл Его и прочел:

„Иди, и как ты веровал, да будет тебе”.

Я еще не понял, что случилось. Я пошел туда, к Сереже. Я шел очень тихо, но я увидел, что мама сидит у его постели и делает знак рукой: „Саша, не шуми. Сережа уснул”.

А через три дня он уже сидел в кроватке, с грудью, завязанной теплым платком, весь обложенный подушками. Мы принесли к нему столик. Поставили кругом его любимые игрушки, крепости, домики, некоторые он так любил вырезать и склеивать. Маня, с самой большой своей куклой встала около него, и я их торжественно сфотографировал.

Как я был счастлив, как я радовался!

А Сережа?

С этого года Сережа прожил еще около сорока лет, но большая половина его жизни прошла далеко от меня. И, когда я вспоминаю его сейчас, я вспоминаю только юношу-гимназиста и очень недолго студента. Старательно перебираю в памяти нашу общую жизнь. Опять вместе гимназия и вместе дом

Мусатовых: ледяная гора, каток; летом гимнастика и общие игры.

Но вот Саша сходит со страниц его дневника. Мы взрослые. Мы оба пишем стихи. В них пока он еще обращается ко мне, но он мне непонятен.

„Лучшему другу, безмерно любимому.
Мой из могилы привет...

Он пишет:

„Мама, мама, не плачь надо мной.
Из могилы назад не зови...”

Он пишет:

„Мне приснилось сегодня, что я умирал,
Отчего и когда я не помню теперь.
Но таинственный миг для меня настаивал,
Смерть сходилла ко мне...”

Что открылось ему в явлении смерти? Почему он не мог ее забыть? Почему снова и снова звал ее?

При всех своих необыкновенных достоинствах: красоте, уме, удивительно мягком и добром характере, он не привлекал к себе людей, а как бы отталкивал их от себя. Точнее он носил в себе такое знание, которое делало его чужим для всех. Очень скоро он потерял веру в Бога. Что же ему осталось?

Он пишет:

„Разве мало в отчизне моей
И безлюдных пустынь и лесов
Где б укрыться я мог от людей,
От людей и людских голосов?
Или в тесной тюрьме может быть,
Где бы шли бесконечно года...

Во всем этом жизнь ему не отказала. Этого она ему отпустила сполна. От Соловков до Якутской тайги исходил он наши дебри и потьмы. Тридцати лет его морили по тюрьмам, гнали без остановок и сроков по всем русским пустыням, преследовали безжалостно, мучили, мучили, и наконец, убили.

Может быть, Любовь Божия оградила бы Сережу от этих ожидавших его страданий, когда бы в тот вечер Бог взял бы его — юного отрока — к Себе. Но почему же Бог не отверг мою молитву?

Нам ли знать судьбы Божии? Мне ли упорствовать в своей воле?

Господи, не внимай сердцу моему,
Не внимай словам молитвы моей,
Не сотвори по воле моей,
Но сотвори то, что угодно Тебе,
Что избирает и назначает для нас
Всесвятая и премудрая воля Твоя!

18.VI.

Петроград

Осенью 1916 года я жил в Петрограде. Приехал я туда с большими планами и надеждами, но жизнь пошла не так, как мне хотелось. Литературные мои успехи и удачи как-то затихли. Причина, может быть, была во мне самом. Я менялся, отходил от друзей, которых приобрел в 15-м году. Разошелся с Есениным. Завитой, подрумяненный и подбеленный, в голубой рубашке с гребешком на шелковом поясе, он мне казался таким фальшивым, что я стал его избегать.

Меня все больше и больше стали интересовать вопросы религии, храм, молитва. Я полюбил ходить в Вознесенский собор на Вознесенском проспекте и молился там перед иконой Божией Матери „Утоли моя печали”. Из моих петербургских знакомых всех ближе стала Анна Александровна Бруни. С ней я много проводил время в разговорах о Боге и Церкви. Как-то я высказал свое желание найти священника, который бы стал моим руководителем и наставником.

„Вам и искать нечего, — ответила она мне. — У вас в Москве есть такие достойные священники, молитвенники и подвижники, как о. Владимир Богданов и о. Алексей Мечев”.

Это было в первый раз, когда я услышал имя дорогого Батюшки.

Жизнь в Петрограде в это время день ото дня становилась все хуже и труднее. Все дорожало. Не хватало продуктов. Появлялись хвосты перед продовольственными магазинами и очереди за хлебом. Помню, как-то я стоял в очереди за хлебом на Большом проспекте на Васильевском острове. Очередь была длинная.

В булочную вошел знакомый мне поэт (Лозино-Лозинский). Он, не обращая внимания на очередь, прямо шел к прилавку. На него закричали, зашумели, он с презрением оглянулся на стоявших в очереди и крикнул: „Мне не нужен ваш хлеб, я ем пирожное”! Пример Лозино-Лозинского не устраивал меня уже потому, что у меня было очень мало денег. За все три месяца моей жизни в Петербурге в этот приезд я не заработал ничего и жил на ту скромную сумму, что мне присылала ежемесячно мой верный друг Варя.

И вот я стал думать о возвращении домой, в Москву. Захотелось проверить и слова Анны Александровны и увидеть о. Алексея Мечева.

Жил я на Вере́йской улице, в нижнем этаже громадного дома. Если в Петербурге вообще темно, то в моей комнате всегда был мрак. За окном с утра до вечера маршировали солдаты. Это были новобранцы или призывные из Измайловских казарм, которых и на моей, и смежных с ней улицах обучали перед отправкой на войну. Война чувствовалась во всем и везде. Я затосковал.

„В Москву! В Москву! В Москву!“

Но тут выяснилось, что уехать не так просто, началось движение из Петрограда. Чтобы достать билет, надо было стоять чуть ли не несколько дней и ночей.

Я растерялся. Мне сказали, что есть возможность уехать, купив билет в специально открывшейся в это время на Невском конторе или кассе, уж не помню, как она называлась. Я пошел туда. Оказалось, что цены на билеты там, как сказали бы теперь, „коммерческие“, то есть такие, какие при моих грошах мне были совершенно недоступны: а уж решив ехать, я теперь только и думал об отъезде. Где достать денег на билет — стало моей единственной мыслью. Без дела, с одной этой мыслью я теперь ходил по улицам Петрограда: как какой-нибудь герой Достоевского. На что я надеялся? На чудо? На необыкновенную встречу? На случай?

И вот что случилось.

Был очень ясный, необычайный для Петербурга день. Было очень сухо, было даже солнце. Не помню, был ли снег. Во всяком случае на тротуаре, по которому я шел, его не было. Я шел по набереж-

ной Фонтанки, в той ее части, где ее пересекает Гороховая. Прохожих совсем не было. Я шел один. В это время с Гороховой вывернулся и пошел мне навстречу человек. Он быстро приближался ко мне, почему я и обратил на него особенное внимание, как-то неестественно звонко стуча на ходу своими каблуками об асфальт. Это был господин средних лет, в котелке, в расстегнутом на груди осеннем пальто, хотя был декабрь месяц. Его котелок, пальто, костюм, — все на нем блестело, все было такое новенькое, отглаженное, точно он сейчас спрыгнул с витрины магазина готового платья. Такое же новенькое, блестящее, чисто выбритое было и его лицо. На меня он не смотрел. И вот, поравнявшись со мной, он правой рукой выхватил у себя из бокового кармана красный кожаный бумажник, стараясь, уже обеими руками что-то из него достать. И в эту секунду из бумажника с треском веером рассыпались деньги. Он же, не обращая внимания ни на меня, ни на разлетевшиеся кругом деньги, быстро уходил, все так же звонко стуча своими каблуками.

Что делать? В это время с Гороховой повернул новый прохожий, а я стремительно бросился собирать деньги, и потом, точно вор, проскользнул, не смотря на нового встречного и бросился по Гороховой. Я очень волновался. Бумажки, которые я подбирал, были все новенькие, хрустящие. Я подумал: „Может быть, это фальшивые деньги?“

На Гороховой нет магазинов. Но вот я заметил внизу одного темного и особенно мрачного дома, табачную лавку. Я вошел. Не очень то я был спокоен, когда подавал продавцу бумажку. Если он меня задержит? Я обратился к нему довольно глу-

по: „Дайте мне папирос!“ Он подал мне коробку „Папиросы Осман” 25 штук. Темно-синяя коробка с серебром. Все это я почему-то запомнил на всю жизнь. Получив сдачу, я вышел на улицу.

У себя на Вере́йской я выбросил деньги из кармана. Это были деньги в мелкой купюре: рубли, пятерки, всего я насчитал 47 руб. Я подумал: „Это наверно был дьявол. Я теперь пропаду. Но что бы то ни было, я еду в Москву”.

В тот же день я купил на „дьявольские деньги” коммерческий билет, а на другой день с ночным поездом уезжал из Петрограда. В эту ночь в Петрограде был убит Распутин. Началась революция.

*

Ни маме, ни Варе я про эти деньги ничего не сказал. Я все-таки стыдился, что я их поднял. И никогда я не мог себе уяснить — откуда же все-таки на меня свалились эти деньги?

Недавно, пересматривая некоторое оставшееся от маминой переписки, я нашел письмо, помеченное 12-м мартом 1917 года, то есть почти сейчас же после февральской революции. В нем мама писала Леониду: „Если бы в теперешнее время Саша оставался в Петербурге, как бы я за него беспокоилась, а вот Бог устроил, что он своевременно вернулся, и я надеюсь, что и во всем остальном Бог всех нас не оставит”.

Эти мамины слова как-то меня успокоили. Конечно, всегда, когда я был в Петрограде, мамины молитвы были около меня, и они охранили бы меня, если бы мне и правда явился дьявол. А то, что в то тяжелое время, которое начиналось для всех

нас, я оказался дома, около мамы — как это было хорошо и для нее и, конечно, особенно хорошо для меня.

Москва, 21 июня.

Св. муч. Иулиания Тарсийского

1918 год

1

Я приехал из Петрограда в Москву в декабре 1916 года, но на Маросейку попал только через два месяца. Замечательно, что мое посещение церкви Николы в Кленниках совпало с февральским переворотом. Точно я инстинктивно стремился здесь, в православном храме, под покровом Божией Матери и св. Николая укрыться от тех бед и несчастий, которые несло мне будущее.

Батюшку я не почувствовал, и дело его на Маросейке не понял. Была рядовая дневная служба Великого Поста. Служба еще не начиналась. Я вошел в почти пустой храм и вслед за мной сейчас же вошел батюшка. Несколько женщин, бывших в храме, бросились к нему, и он остановился, благословляя их. Это дало мне возможность разглядеть его.

Таких батюшек я видел на картинах художника Бакшеева. Старичок, с простоватым круглым русским лицом, и рядом всегда две-три растроганные женщины в платочках. А чего ждал я? Может быть, пророка, священника чуть ли не с мечом, разящего и рассекающего грешные души. Я подумал: „А вдруг он, благословив старушек, обратится ко мне.

Что скажу я?” И я поспешил незаметно выйти из церкви.

Н е з а м е т н о. Вот какой я был еще духовный младенец.

Но не только эти беглые впечатления были причиной моего бегства. Была другая, более глубокая причина, а именно то, что я еще очень крепко был связан с миром. Только что почувствовав его притягательную силу во время петербургских успехов и признаний, в Москве я совсем закружился среди лести и похвал. Я сразу стал своим в целом ряде редакций. Вторая книга моих рассказов набиралась в типографии и художники спорили, кто будет делать к ней обложку.

Чтения моих рассказов устраивались в самых разнообразных аудиториях — от кружков литературной богемы до трудно открывающих свои двери новичку замкнутых салонов. Каждый день нес мне новые знакомства, причем эти знакомства не были официальными встречами в редакциях и на собраниях, как в северной столице. В Москве все было радушнее, теплее и любовнее. Попадая в какой-нибудь литературный дом, я как-то незаметно и сразу становился там своим и родным.

Одним из таких, открывших мне свои гостеприимные двери литературных домов, был дом Белоусова на далекой московской окраине, на тихой Соколиной улице за Семеновской заставой. Иван Алексеевич Белоусов — член Телешевской „Среды”, один из директоров „Литературно-художественного кружка”, собирал у себя в доме весь цвет тогдашней московской большой литературы. В хлебосольном доме Белоусова, „на воскресную кулебяку” приезжал и Леонид Андреев, и Иван

Бунин, и Борис Зайцев, и Телешев, и Шмелев, и целый ряд других известных писателей.

В доме Белоусова, конечно, очень много бывало и молодых литераторов, но они группировались, главным образом, вокруг старшего сына Ивана Алексеевича — Ивана Ивановича, или, как все его звали, Вани. Ваня сразу уверовал в мое дарование, признал меня самым обещающим и привязался ко мне всем своим большим сердцем.

Это был какой-то даже несколько старомодный энтузиаст, вроде Аполлона Григорьева или Николая Станкевича. Он весь жил только интересами литературы и искусства. Он был тонким ценителем всего прекрасного и восторженным человеком. Людей он привлекал к себе своей бесконечной терпимостью, вниманием и интересом к душе каждого, кто бы с ним ни соприкоснулся, и его маленький кабинет всегда был полон гостей, часто засиживающихся там до поздней ночи. Как все такие восторженные идеалисты, он был болезненный и рано умер. Его смерть огорчила всех его знакомых, а я потерял самого близкого друга.

Ваня спешил познакомить меня со всеми, кто, как казалось ему, будет мне полезен на моем литературном пути, и просто с теми, кого он сам особенно любил. Из последних никогда не забуду одну прекрасную пару: Евгению Александровну и Степана Павловича Галицких. Уже пожилые, они обладали такими нравственными достоинствами, что общение с ними было всегда полезно и радостно. Евгения Александровна была сама поэтессой, очень любила литературу, была ревностной посетительницей Литературно-художественного кружка, дружила с многими крупными писателями, как, например, с Вяче-

славом Ивановым. Евгения Александровна была необыкновенно добрый, хороший и глубоко верующий человек.

Когда я стал уже своим на Маросейке, и в разговоре с Евгенией Александровной упоминал о бабушке, она всегда очень оживлялась и начинала вспоминать: „А вы знаете, Александр Александрович, что отец Алексей венчал нас со Степой”. Бабушку она глубоко ценила, любила и почитала.

Она умерла в 1925 году в начале февраля. Весть о ее смерти пришла на Маросейку во время всеобщей. Я стоял, как всегда, на своем месте около столика с книгами, у окна, рядом с Евд. Ефим. Вишняк. Услышав о смерти Евгении Александровны, Евд. Ефим. перекрестилась и сказала с твердым убеждением: „Ну, за Евгению Александровну нечего беспокоиться. Туда, куда пошла ее душа, там, где она сейчас, уже здесь ей было все знакомо”.

2

Наступил октябрь 1917 года. После Октябрьской революции жизнь всех переменилась. Общая растерянность, неуверенность в завтрашнем дне, потеря имущества и всех материальных ценностей, разруха, голод, болезни — все это следовало одно за другим. Все мои планы рухнули. Вместе со всеми другими были закрыты и те газеты и журналы, с которыми я был связан. Были национализированы все типографии, в том числе и типография Рябушинского, где набиралась моя вторая книга рассказов. Мои знакомства сразу поредели. Писатели разъехались. Многие уезжали на еще не разоренный юг, другие эмигрировали из России.

У нас в семье работала одна только Варя, а нас было четверо. Я, и всегда болезненный, теперь все время болел. Как жить? Как жить, что делать, как облегчить отчаянное положение Вари, — я совсем перестал понимать, не видел никакого выхода и страшно страдал.

Мой друг Ваня всячески старался меня поддержать и что-нибудь для меня придумать. И вот он стал развивать передо мной такой план. Через Галицких устроить меня в какой-нибудь санаторий в Сокольниках. Пусть я поживу там несколько месяцев, а за это время что-нибудь выяснится. Милый Ваня, он изо всех сил старался мне как-нибудь помочь. Как-то вскоре после нашего разговора он приехал ко мне в Демидовский переулок на машине, которую он достал у кого-то из знакомых партийцев, и повез меня в Сокольники.

Галицкие приняли нас со всем присущим радушием. Но, поговорив с нами, Степан Павлович объявил, что все наши планы неосуществимы и нереальны. Санатории и больницы закрываются. Питаться там нечем, как и везде кругом.

Евгения Александровна утешала нас, как могла. Наконец она решительно сказала: „Пусть Александр Александрович поживет немного у нас. Может быть у нас рассеется его тяжкое самочувствие. Мы его немного подкормим. У нас, еще слава Богу, все есть. Она была так добра, так ласкова, так матерински заботлива, что мы все решили, что так будет хорошо. И я остался у Галицких.

Евгения Александровна познакомила меня со своими дочерьми Леной и Катей — молодыми девушками, такими же добрыми и ласковыми, как их родители. Они окружили меня самым теплым вни-

манием. Каждый день мне в комнату ставили цветы. Они старались меня всячески занять, отвлечь от тяжелых мыслей, тащили меня в гостиную, когда там собиралась молодежь — их друзья. Квартира Галицких была большая, с большими светлыми окнами, с по-больничному выбеленными стенами. Это был, как говорил Ваня, поистине светлый дом.

И я ходил по этому светлому дому, как свой. Как-то я зашел в кабинет Евгении Александровны. Мое внимание привлекла к себе одна икона большого размера, повешенная не как обычно в углу комнаты, а на стене высоко над столом. Божия Матерь на ней была изображена тоже необычно: не с Младенцем на руках, а с книгой. Когда я рассматривал икону, в комнату вошла Евгения Александровна. Она сказала: „Я вижу как внимательно смотрите вы на образ Божией Матери. Это икона Калужской Божией Матери, — покровительницы моего родного города: Вы помолитесь Ей, попросите Ее о своих нуждах. Вот увидите, Она услышит Вас и выведет из ваших трудных обстоятельств и устроит вашу жизнь. То, что я говорю Вам, это точно, это испытано”. И она вышла, притворив за собою дверь. Ее слова были сказаны с такой верой и убеждением, что я сделал, как она мне советовала.

Я встал на колени перед иконой Царицы Небесной и со всем усердием и со слезами помолился Ей. „Матерь Божия, Ты видишь, как мне сейчас трудно. Где мне искать выход? Как мне устроить мою жизнь? Помоги мне Всемилостная!”

На другой день я вернулся домой. Мама очень обрадовалась: „Саша, как хорошо, что ты пришел. А без тебя приходил вчера Вася Филиппов и очень

был огорчен, что тебя не застал. Но он хотел еще раз зайти.

Вася был мой товарищ по гимназии. Все гимназические годы мы провели с ним в тесной дружбе. Обыкновенно летом я уезжал с ним в Останкино, где у Филипповых были свои дачи. В этой семье я был совершенно как родной. С Васей я не виделся с 14-го года, когда он был призван в армию и ушел на войну. Он был ранен, долго болел и лежал в разных госпиталях. Да и я тогда жил не в Москве, а в Петрограде. Где он, я ничего о нем не знал и его появление меня очень обрадовало. Придя ко мне в тот же день и застав меня, он сразу сказал: „Санька, поедем со мной в Калугу”. Он служил в Калуге разъездным агрономом при Калужском Губернском Союзе кооперации. „Жить будешь у Олейничак, а я из поездок буду привозить продовольствие”.

Его приглашение ехать в Калугу я воспринял, как скорый ответ Божией Матери на обращенную к Ней мою молитву перед иконой Калужской. Я видел, что Божия Матерь берет меня в Свой город, что Она меня там устроит. Через два дня я с Васей уехал в Калугу.

3

В Калугу мы приехали в Праздник Рождества Богородицы. Когда мы вошли в вокзал, первое, что я увидел в углу проходной комнаты — огромную икону Калужской Божией Матери, закрывавшую весь угол стены. Перед иконой в массивных подсвечниках горело множество свечей, пылавших как огненный куст.

Я невольно остановился и поклонился призвавшей меня сюда Царице Небесной. Несколько растерянный, я спросил у стоявшего около иконы монаха: „Это чудотворная икона? „Он улыбнулся, но ответил спокойно: „Чудотворная икона Калужской Божией Матери находится в селе Калужка, в четырех верстах от города. А если Вы приехали поклониться Ей, то сейчас она гостит у нас в городском соборе”.

Выйдя из вокзала, я сказал Васе нанимавшему извозчика в городе: „Вася, довези меня до собора, я хочу помолиться, а дорогу к Олейничкам я потом один найду после обедни”.

В студенческие годы мне как-то пришлось провести в Калуге рождественские каникулы у того же Васи, отбывавшего здесь с сестрой свою высылку из Москвы. В тот приезд я узнал и семью Олейничак. Вася и Дуня были тогда очень далеки от религии и Церкви, и я, живя у них в Калуге, жил общей для нас, довольно рассеянной жизнью: поездки, гости, балы в Дворянском Собрании. В соборе, я тогда ни разу не был и не помню, видел ли я его.

Подходя сейчас к собору, я был поражен его необыкновенной красотой. Была золотая осень. Чудный день. Праздник Рождества Богородицы. Окружавшие собор белые здания, все одного общего стиля, создавали какой-то удивительно стройный архитектурный ансамбль. Собор стоял ничем не заслоненный в центре этого белого четырехугольника, в сквозном зеленом сквере. Негустые прозрачные аллеи не закрывали, а еще более выделяли белизну собора и украшали его строгие стены. Круглый и широкий барабан был до самых краев

покрыт серебряным куполом. Он, как перевернутая серебряная чаша, осеняя все здания, успокаивал глаз своим нежным блеском и чистотой своей безупречной покатости.

Я вошел в собор и через весь народ увидел перед раскрытыми Царскими вратами, на амвоне с высокими ступеньками архиерея. Он весь был золотой в своем облачении, худенький и прозрачный, так похожий на великого старца митрополита Филарета Московского, чей портрет в красках и золоте всегда висел в комнате у моей бабушки. Архиерей высоко держал дикирий и трикирий. Его голос старческий, но слышимый всюду, возглашал: „Призри с небеси и виждь и посети виноград сей, его же насади десница Твоя”. Он благословил народ, а вышедшие на средину перед Царскими вратами три мальчика в золотых стихарях, удивительно подобранными и чистыми голосами запели: „Святый Боже”...

Так вот куда привела меня Царица Небесная.

*

После службы я, наконец, мог подойти к святой и чудотворной иконе. И со всем усердием и слезами, на коленях молился: „Матерь Божия, к Тебе прибегаю не отврати лица Твоего от меня грешного, потерявшегося и не знающего, как жить. Как Сама знаешь, устрой меня в Твоем городе, одного здесь очутившегося без всех моих близких. Спаси меня от нужды, от голода, болезней, печали”.

И Матерь Божия вняла моей молитве. Десять месяцев я прожил в Ее городе и не знал ни нужды, ни горя. Какая бы ни вставала передо мной труд-

ность, я шел к Ней и говорил все, что меня пугало, и Она милостиво указывала мне, как поступить. Никогда Она не посрамила моего упования, никогда не оставила тщетной мою надежду.

Недели две я жил как гость в семье Олейничак у трех сестер, которых я описал в 47-м году в моем погибшем „Облаководстве”. Вася обещал устроить меня у себя в Губсоюзе, и все, казалось, складывалось хорошо. У него со всем начальством были прекрасные отношения, и начальство, конечно, не стало бы препятствовать моему поступлению.

Но тут возникло другое препятствие, неожиданное. Устроиться на службу, по правилам того времени, можно было только через Биржу Труда. На Бирже Труда я сразу понял, что мое дело безнадежно. Меня забросали вопросами: где служил, профессия, стаж... И, когда узнали, что я приезжий, перестали со мной разговаривать. „Если Губсоюзу нужен работник, мы пришлем туда того, кто стоит у нас на очереди”.

Что делать? Вася задумался, а я пошел в собор. И опять я горячо молился: „Матерь Божия, научи, укажи, что мне сделать, как обойти неожиданное препятствие, мешающее моему устройству”. Я решил после службы еще остаться и отстоять молебен. Написал для молебна записку о здравии моих ближних и положил ее в карман.

Перед молебном я подошел к аналою, чтобы положить записку и все время смотрел на образ и просил Божию Матерь о помощи.

Когда я вынимал из кармана записку, я вместе с ней вынул какую-то сложенную бумагу, которая и упала на пол у ступенек киота с иконой. Я взглянул и вспомнил. Когда я уезжал из Москвы

в Калугу, меня приехал на вокзал провожать мой приятель — писатель Ютанов. Он, прощаясь со мной, сказал: „А вот эту записку я взял для вас у Окулова. Мало ли что понадобится вам в чужом городе”.

В записке было написано всего несколько строк. Обращаясь к калужским товарищам, Окулов писал, что знает меня и просит оказать содействие. Окулов был тогда фигурой в партии, и на записке стояла печать очень серьезная. Я записку тогда на вокзале сунул в карман, не зная зачем она мне, я про нее давно забыл. Теперь весь молебен я стоял и думал о ней.

„Да ведь это Мать Божия указывает тебе, что тебе делать!” С твердым убеждением, что это так, я на другой день пошел на Биржу и просил, чтобы меня пропустили к заведующему. Ему я коротко сказал, что хочу поступить на службу в Губернский Союз Кооперации и подал записку. Он тут же в несколько минут оформил мое направление, и я с торжеством принес его Васе. Так я поступил на службу секретарем правления в Калужский Губсоюз.

Казалось, все пошло хорошо, но через месяц произошло новое осложнение. Жил я у Олейничак в маленькой комнатухе. Это была пристройка, сделанная старшим братом Олейничак Анатолием для себя, по своему вкусу. Совершенно изолированная, с отдельным входом, она и дверью и окном выходила в большой яблоневый сад. Анатолий жил в Москве. Без него комната его никому не была нужна, и я чувствовал себя в ней очень хорошо.

И вот однажды старшая сестра Маргарита обратилась ко мне. Все в этом доме было чудное, не похожее ни на что. Все сестры наперерыв смеялись, и

дом их так и слыш „хохотным домом”. Меня в этом „хохотном доме” почему-то звали „Августейший”. Так вот, Маргарита, как-то вечером, когда я пришел со службы, давась от смеха, объявила мне: „Августейший, должна доложить вам, наш Анатолий прислал письмо. Пишет, что скоро приедет к нам и зиму будет жить в Калуге. С ним приезжает, — тут она совсем захлебнулась от смеха, — и его Терпсихора”.

Я понял, что мне надо комнату освободить. На другой день в Союзе я все рассказал Васе. Он старался меня успокоить и энергично принялся за поиски комнаты для меня. И опять возникли перед нами трудности начального коммунизма. Оказалось, что все освобождающиеся комнаты сдаются в Горсовет и заселяются опять-таки в порядке очередности.

Наконец, Вася указал на одну даму, где жилец собирался уезжать — не то в Азию, не то на Кавказ. Дама соглашалась пустить меня, если я добуду ордер на комнату. Ордер я достал. Моим хохочущим сестрам объяснил, что переезжаю. И вдруг дама эта сообщила Васе, что жилец переезжать раздумал и остается до весны. В какое я попал отчаянное положение!

В собор я теперь ходил постоянно, каждое воскресенье обязательно. И теперь, придя в собор, я прямо, не дожидаясь конца службы, припал к ступенькам перед образом Божией Матери и рассказал Ей о моих обстоятельствах, о моем горе и безвыходном положении. Я поднялся по ступенькам и, все молясь и прося о помощи, приложился к иконе. Когда я стал сходить по ступенькам вниз, и еще даже не сошел на пол, ко мне подошла дама с

вопросом: „Вы ли то лицо, которое хочет снять у меня комнату? Если это Вы, то можете переезжать хоть теперь, уже после обедни. Мой жилец сегодня уехал”.

Я уже сказал, что я постоянно ходил в собор. Моя новая комната была очень близко от собора, и я ходил туда во всякую погоду, в дождь и снег. Калужские соборяне служили прекрасно. Чудные были в соборе архиерейские службы. Такое благочестие, стройность, образцовый порядок можно встретить далеко не везде. А какое благолепие! Красота облачений! все эти бусы и жемчуга на митрах, бриллиантовые панагии. Епископ Феофан (Туляков), видно, очень любил богослужение, понимал и тонко его чувствовал. Хор в храме был чудесный. Среди женских голосов был один совершенно изумительный. Это была девочка-подросток Лида Румянцева, с голосом такой красоты, что ее приходили слушать, как на какой-нибудь концерт.

В Калуге я прожил 10 с половиной месяцев. Каждую неделю бывал за церковной службой. Я прошел почти полный годовой круг богослужения, начиная с Рождества Богородицы и до Успенского поста. Для меня это явилось настоящей школой. Здесь в храме через самое богослужение, через иконы и через церковное пение я познавал и приобретался к истинам и таинствам христианства. Остальное дополняла домашняя молитва и усердие к Божией Матери.

Мое религиозное настроение было, конечно, замечено у меня на службе. Но женщины, машинистки и секретарши, с которыми я находился в постоянном общении — все эти Кашкины, Ларины,

Назимовы, Дурасовы — все это были представительницы старых дворянских родов, которых, совершившийся в России переворот загнал, в поисках куска хлеба, на нашу невеселую работу. Все эти женщины были религиозны, и мое поведение их мало смущало. Оно, может быть, не то что смущало, но удивляло одну из наших машинисток — Марию или Марусю Преображенскую. Дочь очень почтенного и уважаемого в Калуге протоиерея, она, как это часто бывало в дореволюционное время, происходя из духовной семьи, сама от религии была далека. Ее особенно поражало мое усердие к Божией Матери. Она мне как-то сказала: „Вы какой-то чудной. Для Вас Матерь Божия, как мать родная”. Я молчал. В свой внутренний мир я никого не хотел впускать.

Время шло. Прошел Великий Пост. Пасха, Троица. Мама стала писать мне, что она хочет, чтобы я вернулся, что все они очень обо мне соскучились, что мой приезд необходим, иначе у нас отберут одну комнату. Была еще одна причина, которая заставляла меня думать о возвращении. Белые наступали на юге. Остаться в Калуге становилось опасным. Но когда я приходил в Собор, мне до слез делалось грустно покидать этот, ставший мне таким дорогим и нужным, мир. Икону чудотворную я видел только тогда, когда приехал в Калугу. Обычно она находилась в селе Калужка, и я упрекал себя очень, что так за все лето и не собрался туда, не увидел Ее еще раз. Я усердно молился перед соборным списком с Нее, и просил у Матери Божией: „Не оставляй меня и впредь. Научи меня, укажи мне у кого искать руководство, чтобы не

ослабевала, не угасала моя начинающаяся духовная жизнь”.

Но вот назначен и день отъезда. Я ехал в Москву с целой группой наших кооперативов. Я нашел, что так будет мне удобнее. Путешествие по железным дорогам в то время было делом нелегким, и я надеялся, что мои кооператоры мне помогут. Да и лошадей до вокзала давал Союз.

Накануне отъезда я пошел гулять по Калуге, прощаясь с любимыми местами. Помню я шел рощей от Оки к городу. Вечерело. Вдруг полился колокольный звон. Один за другим приставали к нему все калужские храмы. Я спросил у встретившейся мне женщины: „Почему такой звон?”

„Да в собор несут Владычицу, — ответили мне, — пришла к нам горьким, из Калужки”.

Я бросился в собор.

Господи, как я молился в тот вечер! Как я плакал и благодарил Царицу Небесную, что Она пришла проводить и благословить.

4

На другой день я уезжал. Я с вещами пришел в Губсоюз. Вещей у меня было немного. Какой-то нескладный узел, корзиночка. Везти домой мне было нечего. Не то было с моими спутниками. Они грузили мешки и ящики. Везли всякое продовольствие.

Мы сидели уже в пролетке с одним нашим торговым спецом по закупкам. В это время прибежала к нам Маруся Преображенская. Она простилась с моим соседом, а потом немного смущенно обратилась ко мне: „Александр Александрович, а это

возьмите от меня. Вы так любили Калужскую Божию Матерь. Я для Вас сняла ее с божницы. Помните меня, грешную Марию”. Она подала мне завернутую в бумагу икону.

Я готов был расплакаться. Так меня это потрясло. Я взял святую икону в руки. Мы уже поехали. И так я ехал, держа ее в руках. Я и в поезде держал ее в руках. Мне казалось кощунством засунуть ее в корзинку или положить на полку. А кооператоры, может быть и добродушно, хохотали надо мной: „Кто везет в Москву масло, кто муку, кто сало, — а товарищ Добровольский — Калужскую Божию Матерь”.

Когда я приехал домой и снял бумагу, я был очень заинтересован. Маруся, конечно, без понимания обернула Пречистый лик страницами из крестного календаря — большого формата, они хорошо закрывали икону. Но что было замечательно: на страницах, которыми была прикрыта икона, были напечатаны портрет и статья: биографические сведения и изложение учения одного из наших русских подвижников — святителя Игнатия Брянчанинова, о котором раньше я ничего не знал.

Матерь Божия не оставила и моей последней просьбы. В своей иконе Она осталась со мной и указала мне на святителя Игнатия, как наставника в моем духовном подвиге.

*

Я приехал в Москву в конце июля, а уже за все-нощной на 1-ое августа я был в церкви „Николы в Кленниках” на Маросейке. Батюшки не было. Мне сказали, что его нет в Москве. Служил о. Сергей

(имя его я узнал потом). Эта служба меня захватила. И я уже не отходил от полюбившегося мне храма. Каждый день я спешил сюда с первыми богomoльцами и не пропускал ни одной службы.

В один вечер шелест прошел среди народа, переполнявшего храм: „Батюшка приехал”.

Я еще не подошел ко кресту, а он, обернувшись ко мне ласковым и смеющимся лицом и все время смотря мне в глаза, сказал громко, на всю церковь, привлекая внимание всех:

„Вот и он, наш усердный богомолец!”

Да, я усердно молился в его храме всю эту неделю, но ведь его не было в Москве, а меня он не видел, и меня не знал. Тогда я еще не понимал, что батюшка, и не видя меня, уже видел мое усердие, и не зная меня, знал, что я теперь пришел — навсегда.

8 августа 1961 г.

День праздника иконы Толгской Божией Матери

Красноярская обедня

Мой последний день в Москве и на Маросейке. 8-ое июля. Праздник явления Божией Матери Казанской.

На Маросейке это был храмовой праздник, и служба в этот день совершалась особенно торжественно. Я старался не проронить ни одного возгласа, ни одного песнопения, ни одной молитвы. Все запечатлеть, впитать в себя, запомнить, унести с собой. Ведь теперь, может быть, долго, долго я не

прикоснусь к этой животворящей атмосфере христианского храма, не войду в строй православного богослужения, не ощущу благодати совершающихся здесь таинств.

Неожиданно мобилизованный, завтра, ранним утром, в партии таких же, как я, я уезжаю на фронт, в темное, внезапно развернувшееся передо мною будущее. И в какой момент! Когда сердце мое прилепилось к храму Божию, когда, кроме храма, божественной службы, все остальное уже не прельщало меня и не привлекало. Если бы была моя воля, я совсем бы убежал из мира, укрылся бы за монастырской стеной.

Вечером я в последний раз пришел на Маросейку. Служили нервно, с каким-то особым подъемом. Храм, как всегда, был переполнен молящимися. Но вот служба кончилась. Что это? Батюшка вышел из алтаря на амвон и обращается ко всем, замершим в ожидании его слов. Батюшка говорит. Я стою далеко. Я стараюсь уловить его слова. Он говорит обо мне:

„Завтра один из наших братьев уезжает на фронт. Помолится же все, все вместе, всем храмом, да благопоспешит ему Господь, да сохранит его Божия Матерь, наша Помощница и заступница и благополучно возвратит („возвратит” здесь особенно батюшка усилил свой голос) назад в наш храм”...

И весь храм молился обо мне, об „отъезжающем” и как молился! Тихо и проникновенно пели сестры. Я весь молебен простоял на коленях. И как трепетало мое сердце, когда над затихшими молящимися зазвучал такой душевно-трогательный взволнованный, прямо к Богу идущий голос:

„И молимтися, Владыко Пресвятыи, и рабу

Твоему Александру Твоею благодатью спутешествуй... мирно же и благополучно и здраво... и паки цело и безмятежно возвращающа...”

Когда после молебна я подошел к бабушке в последний раз, он, благословляя, надел на меня крест, и все не отпускал, и долго на меня смотрел сосредоточенный, задумчивый, внутренне углубленный. Так он все еще молился за меня неслышной мне молитвой.

И после, все восемнадцать дней моего пути (взорванные мосты, разрушенные станции... медленно, медленно ехали мы на восток) я чувствовал около себя силу бабушкиной молитвы. Явно творилась надо мной Божественная помощь. И, наконец, в Уфе, где я должен был получить назначение и направление, совершенно чудесным образом меня направили не на фронт, а в штаб Окулова. Так, молитвами о. Алексея и маросейских братьев и сестер, я, вместо страшного и далекого фронта гражданской войны, очутился в Красноярске, в штабе начальника всей Западной Сибири Алексея Николаевича Окулова, которого я лично знал по Москве, и который отнесся ко мне вполне доброжелательно.

Штаб Окулова стоял не в самом городе, а в находившемся от него верстах в десяти бывшем женском монастыре, рассеянный по его деревянным корпусам и дачам, в сосновом лесу на самом берегу Енисея.

Мобилизован я был как-то странно, с отметкой „без ношения оружия”. Ни к какой военной службе я не годился, и Окулов не знал, что со мной делать. Он вызвал своего подчиненного Вл. К., который хозяйничал у него в канцелярии и передал меня

ему, сказав: „Дайте ему какую-нибудь письменную работу”. Вл. К. был сам москвич, бывший студент Московского Университета, отнесся он ко мне как к земляку и зла мне не творил, но, конечно, я был ему совершенно чужд. „Тютя какой-то” — сказал он про меня.

Обмундировали меня на потеху всем красноармейцам. Дали мне большую серую сибирскую папаху, почему-то длинную до пят кавалерийскую шинель. Обуви на мою ногу не нашлось никакой, и я ходил в своих ботинках на шнурках, а если прибавить к этому еще очки, то можно представить, какой я был — чучело.

В бытовом отношении я был устроен довольно плохо. Жил в канцелярии, спал на скамейке, питался от красноармейского котла, что было очень скудно. Иногда наши вестовые, которые со мной подружились, наворовав где-нибудь картофеля, варили картофельную кашу, и тогда меня угощали.

Но все это мало меня огорчало. Я жил весь погруженный в ту внутреннюю молитвенную жизнь, в которую я вошел в последнее время на Маросейке. А внешне я жил — чужой миру в чужом мне мире. Одно, что меня угнетало — это отсутствие божественной службы, невозможность быть в храме. По всему этому так наголодалась и истомилась моя душа! Ведь с последней службы в день праздника явления иконы Божией Матери Казанской прошло много времени, и теперь, когда я молился, я просил у Господа только одного, чтобы Он не отверг моего горячего желания и устроил „ими же веси путями” мое приобщение к храмовой молитве.

Покидать штаб в течение недели я не мог. Но бы-

ло воскресенья и, когда я по привычке и огляделся, я разобрал, что мои товарищи — военные из штаба, регулярно уезжают каждое воскресенье в город и весь день проводят там. И я стал думать, как бы мне совершить такое путешествие, конечно, не для развлечения, а для посещения храма.

Ни лошади, ни экипажа у меня не было. Идти нужно было пешком. Но я не думал ни о каких трудностях, ни о какой усталости. Какая могла быть усталость, когда сердце мое горело одним желанием храма Божия! При моем приезде в штаб, мне пришлось пробыть несколько часов в Красноярске, и я тогда много гулял по нему и хорошо запомнил его собор, его местонахождение и дорогу к нему от вокзала и от него к вокзалу.

Во время моего пребывания в канцелярии штаба, я завел одно знакомство. Дело в том, что у Окулова был приемный день, один день в неделю, когда он принимал вольных граждан, обращающихся к нему с разными просьбами, главным образом, по поводу сидящих и ждущих своей участи офицеров бывшей Белой армии, заключенных здесь в Красноярске, в артиллерийском городке. Вл. К. приспособил меня в виде регулировщика что ли, который устанавливал бы порядок и пропуск к Орлову просителей.

Среди ходивших к Орлову была одна мать, жительница Красноярска, которая хлопотала о судьбе своего сына-офицера. Он уже один раз был приговорен к расстрелу, чудом избежал его, и теперь она с ужасом и трепетом ждала для него самого плохого. Почувствовав во мне верующего человека, она ухватилась за меня, надеясь, что я ей буду действовать в ее хлопотах. Она очень просила меня,

если я поеду в Красноярск, чтобы я зашел к ней, очень подробно она описала мне, как найти ее дом, взяла с меня слово, что я исполню ее просьбу.

Так вот у меня создался такой план. Рано утром я уйду из монастыря, дойду до вокзала. Там на вокзале напьюсь чаю, передохну и потом, часам к 10-ти приду в собор. После службы из собора я зайду к моей знакомой, отдохну у нее и к вечеру вернусь в штаб.

Все обдумав и усердно помолившись Богу, чтобы Он не отверг моего горячего желания и споспешествовал мне, я в первое же воскресенье двинулся в путь.

Был конец августа. Погода прекрасная. Светло. Идти было легко, поклажи у меня никакой не было и в начале 10-го я пришел на вокзал. На вокзале я хотел напиться чаю, но буфет был закрыт. У одного окна собралось несколько человек, вроде служащих вокзала. Одна женщина что-то рассказывала, другая плакала.

Я решил не задерживаться и идти скорее в собор. От вокзала к городу было недалеко. Дорога была прямая, что-то вроде шоссе. По бокам шоссе шли дорожки для пешеходов. Город начинался чем-то вроде невысокого заборчика. Такие невысокие, сквозные загородки бывают у железнодорожных палисадников. Шоссе, конечно, не было ничем перегорожено, но на дорожках для пешеходов были поставлены деревянные вертушки, так называемые турникеты.

Я увидел, что около них стоят красноармейцы с винтовками. Я подумал: „Не буду проходить среди них, пойду прямо по шоссе”. Я прошел и вскоре от поворота вышел на городскую улицу, по которой и

направился к центру и собору. Как я вошел в город, так и дальше шел по середине улицы. Движения по ней, езды никакой не было, и я никому и никто мне не помешал. В тоже время я с недоумением озирался по сторонам. На улице никого не было, только почему-то на всех углах стояли красноармейские посты.

Один раз калитка у одного дома отворилась. Вышла женщина. И сейчас же с обоих углов к ней двинулись вооруженные красноармейцы. Мне стало как-то неприятно, но я укорил себя, что иду молиться, иду к церковной службе и развлекаюсь всем, что меня не касается. Так я шел минут 15–20. И кругом было все то же. Совершенно пустые улицы и везде вооруженные красноармейцы, их посты, заставы, патрули...

Но вот, наконец, собор.

С каким чувством входил я в его двери, медленно поднимался по ступенькам, внутренне очищая и освящая себя прикосновением к первым святым изображениям крестов и склоняясь перед наддверной иконой.

Служба уже началась. Вид иконостаса, хоругвей у клироса, святых икон кругом, все меня трогало до слез. Я погрузился в глубокое молитвенное состояние, жадно внимая всему чину, так знакомому мне, православной литургии.

Но как ни был я молитвенно сосредоточен, я не мог не ощутить что кругом меня что-то странное. Во-первых, кроме меня во всем обширном храме не было ни одного молящегося, никого, ни одной в темной одежде женщины, старушки, что так неизменно видишь таже в самом пустом нашем храме...

Служил епископ. Я навсегда запомнил его облик, его имя: Никодим, епископ Енисейский и Красноярский. Но эта архиерейская служба как-то не походила на архиерейскую службу. Так она была странно бедна. Не было ни певчих, никаких людей на клиросах. Какой-то человек один пел на левом клиросе. Священнослужителей, сослужащих епископу, было всего два.

Но опять я подумал: „Это мое искушение. Подумаю обо всем после службы”.

Так как никого не было, я стал один у Царских врат и стал следить за службой: радуясь и горячо молясь. Так простоял я до конца службы.

Я подошел к вышедшему на амвон епископу. Он меня благословил; но я сомневаюсь, — видел ли он, кто перед ним. Никогда не видал я, чтобы человек был так погружен и в такую скорбь. Только что слезы не бежали по его щекам. Я отошел от него и пошел в середину храма, на правую его сторону. Там была сооружена очень красивая сень, как бывает над мощами святых угодников. Здесь в гладкой металлической доске была вделана розетка с надписью кругом: „Часть мощей святителя Иннокентия Иркутского чудотворца”. Я преклонил колена, помолился угоднику, приложился к его святым мощам. Потом поклонился иконостасу, святым иконам направо и налево, и, поблагодарив Бога за Его милость ко мне, вышел из собора.

Выходя из собора, я уже решил, что отсюда пойду к моей красноармейской знакомой, отдохну у нее, а кстати расспрошу, что у них творится в городе.

На улицах все было так же, как и раньше. Совершенная пустыня. Ни одного человека, и только

красноармейцы на углах, только проходящие воинские патрули. И опять я пошел посреди улицы, но моя тревога стала нарастать. Наконец, я нашел нужный мне дом и постучал в дверь.

На мой стук открыла знакомая мне женщина. Она ахнула: „Как вы сюда попали”? — дернув меня к себе, она захлопнула дверь. Она все твердила: „Как вы сюда попали?? Как вы пришли? Как вы могли сюда придти?” Вдруг она залилась слезами. Она что-то начала рассказывать мне, все время прерывая свой рассказ, то непрерывающим плачем, то судорожными паузами.

Из ее бессвязного рассказа я все-таки начал понимать. Город оцеплен. Всю ночь и сейчас идет обыск всего города. Ни один человек не может ни войти в него, ни выйти из него. Всякий появляющийся на улице, если он не знает пароля, сейчас же арестовывается. Ее дочь служит на телеграфе. За ней пришел воинский патруль и только с ним она могла пойти на службу.

Женщина замолчала. Она погрузилась в такое же оцепенение, в такую же скорбь, какую я видел в соборе. Я оглянулся. Вокруг все было перевернуто. Выдвинуты ящики комода, открыты шкапы и сундуки. Куча всяких вещей валялась на полу. Я чувствовал, как меня начинает бить нервная дрожь. Я думал: „Если теперь сюда опять войдут производящие обыск по городу, если они спросят, кто я и как сюда попал, что я отвечу? Если я скажу им правду, это будет ужасно. За кого они меня примут и что со мною сделают?”

Я тоже стал цепенеть, как моя знакомая. Не знаю, сколько прошло времени. Вдруг в дверь застучали. У меня замерло все внутри. Вошла моло-

дая женщина. Она сказала громко, радостно: „Кончилось! Запрещение ходить по городу снято!”

Тут она увидела меня. Она взглянула вопросительно. „Это из штаба Окулова”, — коротко сказала старшая. Молодая женщина сделала мне знак, чтобы я вышел за ней. Когда мы вышли на крыльцо, она сказала: „Если вам надо вернуться в штаб, идите вот по этому переулку вниз. Тут две минуты ходьбы. Вы попадете на пристань. Сейчас отходит первый пароход в монастырь. Если Вы не попадете на него, вы совсем не попадете. Вы знаете, как сейчас люди бросятся”.

Я, даже не оглянувшись на нее, поспешно пошел вниз. Я пришел на пристань и подошел к кассе. Вдруг у меня мелькнула дикая мысль: „А если кассир меня не увидит?” Нет, женщина, сидевшая у окошечка, взяла мои деньги, дала билет и сдачу.

Я вошел на пароход, сел на лавочку. Я почувствовал, что у меня начинается головокружение. Но когда пароход отошел от берега и пошел по Енисею, я очнулся и стал приходить в себя. Когда мы приехали в монастырь, я уже владел собою. Я пошел прямо в канцелярию. Вл. К. встретил меня необычной для меня воркотней.

„Есть же люди, которые в выходной день отдыхают, гуляют, а я, как проклятый, сегодня весь день вишу на телефоне. Чуете? Все наши, кто утром поехал в город, арестованы и сидят у коменданта. И вот я должен о каждом давать объяснения и разъяснения, кто он и что он, и действительно ли он тот, кем себя называет. Да ну их к дьяволу!”

Он ушел звонить по телефону.

„А счастлив ваш Бог, — обратился он ко мне час

спустя, — что вы здесь где-то болтались, а не пошли в город. Сидели бы сейчас у коменданта”.

Я промолчал. Если бы я сказал ему, что я как раз ходил в город, что я в Красноярском соборе отстоял обедню, что я только что приехал из города на пароходе, что бы сделал он? Наверное, вызвал бы санитаров, чтобы меня взяли, так как я сошел с ума. А между тем, может быть, никогда мой ум не был так правилен и светел, никогда не было так чисто мое сердце, полное хвалы и благодарений.

„Благословен Бог мой, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей” (Ис. 65, 20).

Москва, 22 июня
Свящмуч. Евсевия

И с ц е л е н и е

(Сила молитвы батюшки о. Алексея)

Когда я вернулся из Сибири, я первым делом, конечно, пошел на Маросейку, к о. Алексею. Много меня смущало. У меня, собственно, не было никаких документов, кроме телеграммы Луначарского и отношения Поарм 5 о том, что такой-то откомандировывается в распоряжение тов. Луначарского.

Батюшка меня успокоил. „Все устроится. Будешь жить в Москве”. И действительно, молитвами дорогого батюшки — все устроилось, как он сказал. Я остался в Москве. Демобилизовался. Получил документы. Стал опять жить с мамой и Варей, как жил до Сибири. Нужно было где-то служить. И это

устроилось. Через Серафимовича попал в Лито Наркомпроса.

Существовать литературной работой в то время было почти невозможно. Писатели приспособлялись, кто как умел. Устраивались на службу в качестве секретарей, референтов, консультантов при театрах, издательствах, в профессиональных организациях. В Москве стали открываться книжные лавки, где торговали писатели. Группа моих товарищей: Ютанов, Ализник, Ляшко открыли летом 1921 года такую лавку у Серпуховских ворот под вывеской „Литературное Звено“. Они уговорили меня бросить Лито и присоединиться к ним. Это меня устраивало. Это не была казенная служба. Начальство было все свои хорошие товарищи, и я надеялся на льготы и поблажки, которые были мне нужны.

Все случившееся со мной на „военной службе“ в Сибири и в пути туда и обратно, Божественная милость и помощь, получаемая там не один раз, а десятки, конечно, по молитвам батюшки, привязало меня прочно и навсегда, так хотел я думать, к Церкви и тому пути, которым вел меня о. Алексей.

Храм и богослужение сделались для меня жизнью, воздухом, без чего вообще жить мне не мыслилась. На Маросейке я бывал каждый день вечером за всенощной. Конечно, каждое воскресенье и праздники у литургии. Все мои путешествия я совершал пешком. Два конца из Демидовского переулка к Серпуховским воротам, да два конца, а может быть и четыре на Маросейку — это ежедневно. А ведь еще надо было помогать маме и Варе. Очереди в магазинах, рынок, поиски продовольствия. Жизнь была тяжелая, голодная. Питался, собст-

венно, тем, что мне мог предложить Ютанов. Он жил на Малой Серпуховке, недалеко от нашей лавки. И вот его старая нянька каждый день приносила мне в лавку немного холодной каши. Дома была пища повкуснее, но тоже очень скудная. А к этому надо еще прибавить, что я соблюдал все посты, выполняя длительное и строгое домашнее правило с тысячными поклонами.

Я худел, слабел и, наконец, свалился. Картина болезни быстро выяснилась. Высокая ежедневная температура до 39⁰, кашель, который душил и разрывал мне грудь. Ужасные ночные поты. За ночь мама переменяла мне не одну, а две рубашки. Друзья мои всполошились.

Степан Павлович Галицкий — главный врач Сокольнической больницы — лично посетил меня, внимательно осмотрел и не скрыл, что положение мое тяжелое. Он прописал мне полную неподвижность в постели, а затем посоветовал употребить все усилия, чтобы попасть в туберкулезный санаторий или больницу, так как наши домашние условия Степан Павлович нашел невозможными.

Горячее участие во мне принял о. Сергей. Он поручил сестре Павле держать его в курсе всего случавшегося со мной, а сам начал изыскивать через маросейские свои связи какую-нибудь лазейку, чтобы добиться для меня приема и врачебного осмотра в одном из туберкулезных диспансеров.

В те годы больных было множество и для осмотра надо было включаться в бесконечную очередь, что крайне осложняло дело. А моей болезни шел второй месяц, и положение мое было очень плохое. Наконец, стараниями о. Сергия устроилось, что меня вне очереди согласились принять в дис-

пансер на Яузском бульваре (бывш. лечебница д-ра Шимана).

Павла стала меня готовить к этому осмотру. Идти, конечно, надо было пешком. Меня все это страшило и волновало, но я понимал, что это необходимо. Конечно мы молились. Молились за меня и на Маросейке, молились все дома, и сам я горячо молился.

И вот мы с Павлой пошли на Яузский бульвар.

Принял меня главный врач диспансера. Отнесся он ко мне очень внимательно. Осмотр длился чуть ли не час. Я так от всего этого замучился, так устал, что домой пришел едва живой.

Какой результат был от моего визита, что сказал доктор, я уже ни во что не входил. Я сознавал, что дело мое плохо, чувствовал это по реакции моих домашних. Все кругом были страшно расстроены и, как ни старались скрыть от меня свое горе, я видел, что все они, не переставая, плачут.

А надо было опять идти на Яузский бульвар, на рентген. Прodelали мы с Павлой и этот второй утомительный путь.

О моей болезни знали уже все мои друзья. Очень встревожились и мои писатели. Иван Алексеевич Белоусов, в своем разговоре с Телешовым, рассказал, что вот, погибает молодой писатель и что надо что-нибудь предпринять, чтобы его спасти. Телешов в свою очередь переговорил с Семашко, в то время наркомом здравоохранения и заручился от него согласием на всякое содействие. Было намечено отправить меня в Болшевский туберкулезный санаторий. Так как мои родные не могли хлопотать за меня, за это взялся один знакомый мой, молодой поэт Петр Зайцев. Очень толковый и

энергичный, он посетил все те медицинские учреждения и центры, от которых зависело в то время направление больных; и связался с Семашко. Прежде всего у него потребовали справки от моего диспансера, что у меня действительно открытый процесс, и Зайцев эту справку получил.

Я ко всем этим хлопотам оставался безразличным. Теперь, когда картина моей болезни была совершенно ясной, мне хотелось только одного — увидеть батюшку и просить его приготовить меня к возможному концу, исповедовать и причастить.

*

Я думал, если я сам два раза смог дойти до Яузского бульвара, почему я не дойду до Маросейки, и я просил через Павлу батюшку, чтобы он разрешил мне прийти в Церковь ко всеобщей накануне праздника Святителя Николая — 6 декабря. Ответ от батюшки пришел такой: „Ко всеобщей прийти нельзя, а чтобы я пришел в самый праздник так, чтобы быть в храме между ранней и поздней обеднями, тогда батюшка примет меня на исповедь, а за поздней обедней меня причастит”.

Мы с Варей, сопровождавшей меня, вышли из дома очень рано.

Я боялся, что так как я ходил очень медленно, мы опоздаем и не исполним наказ батюшки. Но мы пришли точно, как он велел. Какая радость охватила меня, когда я стал подниматься по лестнице вверх в храм. Опять я в этом святом и дорогом мне месте. Все кругом встречали меня так приветливо, уступали дорогу. Меня провели мимо длинной

очереди, стоявшей к исповеди, и поставили на амвон первым, чтобы первым идти к батюшке. И сейчас же я увидел его.

Он шел ко мне своей быстрой походкой, протягивая ко мне руки. Такой бодрый, светлый. „А я все спрашивал всех, где же отец Александр? говорят, болен. Опять спрашиваю, да что же нет и нет отца Александра? И опять слышу: он очень болен. — Батюшка прижал меня крепко к себе, потом как-то оттолкнул и пристально на меня взглянул. — И опять говорят, он очень болен, — повторил он, как-то задумавшись.

Мы стояли у аналоя с крестом и Евангелием. Я хотел опуститься на колени и начать исповедь, но батюшки уже не было около меня. Я только видел, что он ушел в алтарь. Я сосредоточился в молитве и как-то забылся.

Ко мне шел батюшка. Он взглянул на меня так радостно, точно он только сейчас меня в первый раз увидел. Он смотрел на меня пристально, его глаза как-то расширились, углубились. Он дышал прерывисто, точно после крутого подъема, точно он сейчас всходил на высоту или быстро с нее сошел. И сейчас же батюшка повернулся и опять ушел в алтарь. Я ничего не понимал, что происходит. Почему батюшка только вернется и сейчас же опять уходит.

А батюшка уже снова подходил ко мне. Я невольно упал на колени. Такого батюшку я никогда не видел. Он был точно охвачен духовным восторгом. Он ликовал. Его лицо было полно такого света и радости, что я, не смея на него смотреть, приткнулся лицом к аналою. И сейчас же батюшка накрыл меня эпитрахилью и, крестя всего: спину, голову, грудь

прочел разрешительную молитву. Я поднялся. Я все еще боялся взглянуть на него.

Слышу его спокойный, громкий, немного глухой голос: „Отстоишь Литургию”. Слово „отстоишь” он как-то отчеканил, даже рукой сделал приказывающий жест. „Отстоишь Литургию, отстоишь молебен, после молебна подойдешь ко мне”.

Всю службу и молебен я стоял, как батюшка мне велел: Варя несколько раз упрашивала меня: „Саша, ты бы сел, ты же очень устанешь”. Но я отмалчивался.

Кончился молебен. Мы с Варей подошли к батюшке. Он ласково, но молча благословил и пропустил нас, и мы пошли домой. Мы пришли домой в пятом часу.

Мама встретила нас в страшной тревоге. Она думала, что с нами что-то случилось. „Саша, ложись скорей. Я пойду разогревать тебе обед. Только поставь градусник”. Я лег. Я так устал! Мама подошла взять градусник. „Ну вот, ты так устал, что даже градусник держать не мог. На, поставь снова”.

Через десять минут она вынула его и очень разволновалась. „Градусник наш испортился”. Она принесла другой, но и другой показал все то же 36,5°. У меня была нормальная температура в первый раз после двух месяцев! А я так устал, что не дождавшись обеда, уснул. На другой день утром температура была опять нормальная. Мама спросила: „Ты принял лекарство?” — „Да нужно ли? — ответил я. — Я совсем не кашляю”.

Так прошло два дня. Пришел Зайцев. Он мне рассказал, что все налажено. Путевка в Болшево мне обеспечена. Теперь дело за одной фор-

мальностью. Надо получить заключение врачебной комиссии, без этого меня не могут направить. Я сказал, что я на очереди, и что очередь не скоро.

„Ну, идите поговорите с главным врачом, ведь это формальность. Пусть комиссуют вне очереди”.

Зайцев так меня убеждал, что я послушался. Чувствовал я себя несколько крепче, так что я и Павлу не стал беспокоить, и на Яузский бульвар, на этот раз, пошел один.

Сразу же не повезло. Моего врача не было. „Еще не пришел”, — сказала мне сестра, — подождите”. Ждал я целый час. Я устал, стал нервничать, пошел к сестре. Я сказал ей, что я очень болен и так ждать не могу, что я пришел не для осмотра, а для разговора. Я сказал ей про Семашко, про хлопоты, что мне нужно только ускорить комиссию, из-за чего задерживается моя отправка в санаторий. „Ну, что же я сделаю? Хотите, я проведу вас к другому доктору? Он сейчас заменяет вашего врача?”

Доктор Л. мне понравился. Очень мягкий, приятный. Он принял меня приветливо, и я подробно изложил ему мою просьбу, рассказал опять про Семашко, про хлопоты обо мне, про Болшевский санаторий, и чего я от них хочу. Он был как-то нерешителен. „Ваш врач должен обязательно быть. Я его жду с минуты на минуту. Разрешите, я пока Вас посмотрю”.

Начался осмотр. Я видел, что доктор смущен. Наконец, он сказал: „В Болшево вас не примут”. — „Почему?” — „Вы не подходите. Туда поступают только с открытым процессом”. — „А я какой? Вы же дали, ваш диспансер дал справку, что у меня открытый процесс!”

Мне было не по себе. Что он говорит? Что же я, обманщик?

Не помню сейчас, вызвал ли он сестру или сам куда-то сходил, только перед ним появилась история моей болезни. Он читал, смотрел рентген и оставался в том же недоумении.

Дверь отворилась и вошел главный врач. Мой доктор поспешно встал из-за стола. „Наконец-то! Идите, разбирайтесь сами. Я ничего не понимаю”. — Они поговорили между собою. Потом мне предложили раздеться. Меня стал смотреть главный врач.

„Что вы делали?” — он так закричал на меня, что я оробел. Чего они хотят от меня? „— Я ничего не делал, — сказал я, чуть не плача, — я лежал”. „Ну и лежите!” — услышал я. Но сказал он это с таким раздражением, что другой приятный доктор вмешался. „Вам не нужен никакой санаторий. У вас ничего нет. Есть следы старого процесса, но это все давно зарубцевалось. А вот, что вы страшно истощены, это верно. Что вам сейчас нужно — это хорошее питание, отдых, покой. Вы говорите, что в вас принимает участие Семашко. Так вот пусть он возьмет вас к себе в здравницу. Это здесь в Николо-Воробьинском переулке. Кормят там прекрасно, состав отдыхающих исключительный. Через два месяца вы себя не узнаете. Вы будете совершенно здоровы”.

Так и сделали мои друзья. И через несколько дней я уже был в Николо-Воробьинском переулке. Врач в диспансере сказал правду. Общество здесь было исключительно интересное. Очень много первоклассных музыкантов: Барабейчик, Добровейн, Шор, Цейтлин, Матковский. Отдыхал здесь при мне

Михаил Александрович Чехов. Были и другие артисты Художественного театра, были артисты Большого и Малого театров. Каждый вечер я слушал серьезную музыку в прекрасном исполнении. Раз в неделю устраивался концерт для всех отдыхающих. О питании нечего и говорить. И все же я едва-едва дотянул и один месяц. Мне хотелось на Маросейку, в церковь, к батюшке. Мне хотелось молиться, быть в святой и единственно ценной для меня атмосфере. И я выписался.

Когда я один раз рассказывал о моей болезни и о всем, что со мной было, одной женщине с большим духовным опытом, она, слушая меня внимательно, при описании моей необыкновенной безмолвной исповеди, прервала меня.

„Отец Алексей оттого покидал вас, что он уходил молиться перед святым престолом. Он возвращался и его духовный восторг рос, потому что каждый раз он видел в вас те изменения, которые вам самому были не ощутимы и незримы.

Он вымолил вам исцеление”.

Москва, 24 июня, 1961 г.

Рождество св. Пророка Иоанна Крестителя

Вместо послесловия

С батюшкой я никогда не говорил о моей профессии писателя. Я уже начинал сознавать, что мое дело — недоброе дело, и трудно мне, служа ему, очистить сердце свое от страстей. И вот, как-то на исповеди, говоря батюшке о том, как трудна для меня эта борьба, я сказал: „Батюшка, мне это осо-

бенно трудно, ведь я писатель”. „Знаю, знаю, — заговорил батюшка очень быстро и все больше разгораясь. Он даже не на меня смотрел, а точно говорил кругом стоящим: „Какое дарование! — он покачал головой. — Какое дарование! И как расцветет и облагоухает многих”. — „Батюшка, — сказал я с недоумением, — но ведь это путь греха. Писатель идет туда, куда влекут его демоны”.

Батюшка точно не слышал моих слов. Он на них ничего не ответил. Он сидел молча, а потом сказал тихо и очень просто:

„А ты бы попробовал написать что-нибудь назидательное, что-нибудь на пользу для людей, близких тебе по духу”.

*

Ничего я не сделал, не попробовал, не написал.

Может быть, я готовил себе участь раба, скрывшего данную ему мину, завернув ее в платок. Но теперь, уходя из этой жизни, я, написав свои десять рассказов, со страхом, но все же говорю Господу:

„Господи, вот мина Твоя принесла десять мин. Позволь же мне войти в радость Твою”.

Я думаю, что Господь примет эти мои мины, эти мои рассказы, потому, что Он послал мне силы написать их, — мне тяжелобольному, неспособному не только что писать, но и читать.

Все прежнее, что я писал в жизни, Господь отверг.

Мой Петербургский период кончился тяжелой душевной болезнью выдвигавшего меня редактора и продажей журнала.

Все, что я писал потом в Москве, так и осталось в рукописях. Моя вторая книга рассказов погибла

в Октябре, и набор ее был рассыпан. Но я продолжал писать. Я думал: „Это не для славы, не для денег, это никого не может соблазнить”. Но Бог в одну ночь лишил меня всего написанного мною, всего сложенного мною в житницу добра.

Помню один день в Лефортовской тюрьме, в кабинете у следователя. Следствие, собственно, уже кончилось. Я, совсем замученный, все подписывал, что мне давали, не глядя.

Следователь подал мне еще одну бумагу со словами: „Вот и эту подпишите”. Я взял перо. Следователь сказал: „Да, нет, Вы же не прочли. Прочтите, а потом подпишите”.

В бумаге говорилось о моем согласии на то, чтобы все взятые у меня бумаги: записные книжки, дневники, литературные наброски, черновики все рукописи законченных рассказов были сожжены.

Я подписал, но, наверное, на моем лице было видно мое страдание. „Чего вы? — сказал следователь, — чего вы страдаете?” — „А вы хотите, чтобы мать не страдала, подписывая приговор о казни своих детей?” — „Ну... — сказал следователь. — Ведь и Гоголь сжигал свои рукописи. Все равно вам бы пришлось сжечь ваши. Они никому не нужны. Вот мы и снимаем с вас эту работу и берем на себя”.

*

Со мной все было кончено, и все мое дело стогрело. Но разлученный со всем мне дорогим и родным, оторванный от близких и от дома, лишенный всего, я понял, что пусть люди думают так, но это не так.

Есть одно сокровище, которое не сможет у меня отнять никакая злоба и никакая сила, — это любовь моя к Господу моему и Богу моему.

И все эти годы моей лагерной муки, где бы я ни был: в бараке ли, на войне ли, в больнице, на дежурстве ли ночного дневального — я начинал мой день всегда, не знаю откуда мне вспомнившейся, молитвой.

Ею я и кончаю мою книгу:

„И сподоби, Господи, ныне возлюбить Тя, якоже я возлюбил всех любящих меня. Наипаче же возлюблю Тя, Господи, яко Ты возлюбил меня и любиши меня, и жалеешь, и помогаешь мне во всякий день, час и во всякой вещи.

ИИСУСЕ, СПАСИТЕЛЬНОЕ ИМЯ, ПОМИЛУЙ МЯ”.

Москва, 11 июня 1961 г.

День памяти муч. архидиакона Евпла

„ОТЕЦ АРСЕНИЙ”

Два рассказа, публикуемые в этом выпуске, взяты нами из самиздатской рукописи „Отец Арсений”.

Она состоит из трех частей. Первая – „Лагерь” содержит 23 рассказа. Вторая – „Путь” – 14 рассказов и третья – „Дети” – 13 рассказов. Рукопись предваряет Предисловие, отрывок из которого мы помещаем ниже с целью познакомить читателей с общим замыслом книги.

Автор ее, назвавший себя **А л е к с а н д р о м**, проделал работу, достойную самого доброжелательного внимания и благодарности. Это – пример служения Церкви, бескорыстный труд литератора, создавшего подлинное эпическое полотно.

Повествование состоит из глав-рассказов, изображающих судьбы людей, тесно переплетенных с судьбой центрального героя эпопеи – иеромонаха Арсения, бывшего некогда известным искусствоведам, знатоком искусства Древней Руси (фамилия искусствоведа, так же, как и все прочие фамилии, – вымышлена).

В образе этого русского священника, претерпевшего муки изгнания, лагерь, ссылку и пронесшего через все мытарства непоколебимую веру, неистребимую надежду и всепобеждающую любовь воплотились лучшие черты православного пастырства, тех, преданно любимых церковным народом батюшек, которые сумели стяжать своим служением Христу благодатные дары, из которых самым драгоценным явился дар любви до смерти крестной.

Отец Арсений, по-видимому, образ собирательный, хотя многие читатели этой книги хотели бы видеть в нем человека, существующего в действительности, скрытого

до времени святого, имя которого ведомо Господу и со временем будет открыто нам. Однако же это не суть важно — был ли в действительности именно такой человек или в его образе воплотились характерные черты многих священников, прошедших тот же путь, что и отец Арсений.

За очерковой непритязательностью стиля, выдаваемой за документальность, автор умело скрывает „литературный прием”: все его герои кажутся знакомыми, вполне реальными людьми, в них нет ни грама исключительности, это собрание верующих, в некотором роде это — Церковь, и каждый, ее составляющий, знаком другому только малой своей частью, которую и описывает автор — глубина же души и тайны духа не ведомы никому, кроме Бога. Автор поэтому и не дерзает касаться их, он целомудренно всматривается в характеры людей и фиксирует, казалось бы, только внешние приметы, но и они способны свидетельствовать о внутреннем мире. — С о с т.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

„Положить печать на уста своя”, значит, предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле.

Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это долг наш перед Богом и людьми.

Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящий живительную силу веры древних христиан-мучеников.

В этих воспоминаниях предстает перед нами один, только один из многочисленных подвижников

первой половины шестидесятых годов двадцатого века. А сколько было их, погибших за нас?

Девятнадцать веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, положив его за достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть.

Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого было достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать — что такое настоящий Христианин.

Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино часть жизненного пути о. Арсения, я считал своим долгом.

Для того, чтобы собрать драгоценные сведения об о. Арсение, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, к воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его.

Духовные дети о. Арсения были многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него. Был ли это город, где он — ученый искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину, деревня, куда его забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах Сибири маленький городок или страшный лагерь „особого режима”.

Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные — старые большевики,

работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним.

Да! Многие, узнав его, шли за ним!

Каждый, знавший отца Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем.

Встречаясь с о. Арсением, я старался узнать о его жизни, но хотя он вел со мной много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал: „Так ли было?“ — и он всегда говорил мне: „Да, было“, но обязательно добавлял: „Господь всех водил нас по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа“.

Часто по несколько раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминаний, некоторые события сдвинуты мною во времени, переименованы названия мест и имен почти всех участников, так как многие еще живы, а время переменчиво.

Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки. Хотя и несовершенные по своему изложению, но воссоздающие образ и жизнь о. Арсения.

/.../ Было бы самонадеянно говорить: „Я написал, я собрал“. Писали и собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающих и любящих о. Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого воз-

растил и поставил на путь веры о. Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга Человеку, спасшему меня и давшему мне новую жизнь.

Прочтя записки, помяните о здравии раба Александра, и это будет мне великой наградой.

МИХАИЛ

Проверка кончилась, заключенных по счету загнали в барак и заперли дверь. Перед сном можно было немного поговорить друг с другом, обменяться лагерными впечатлениями, новостями дня, забить партию в домино или лечь на нары и думать о прошлом.

Часа два после закрытия барака еще слышались разговоры, но постепенно они стали стихать и тишина завладела баракком, заключенные засыпали.

После закрытия барака о. Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул.

Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около часа ночи почувствовал, что его кто-то толкает. Вскочив, увидел незнакомого взволнованного человека, говорящего шепотом:

— Пойдемте скорее! Умирает сосед! Зовет Вас!

Умиравший находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и прерывисто, глаза были неестественно широко открыты.

— Простите. Нужны Вы мне. Ухожу, — сказал он о. Арсению, а потом почти повелительно произнес: — Садитесь.

Отец Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образуемого нарами, слабо освещал

лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты.

Был он измучен, смертельно бледен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на о. Арсения.

В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни, исстрадался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу.

— Исповедуйте меня. Отпустите. Я инок, в тайном постриге.

Соседи по нарам ушли и где-то легли. Все видели, что пришла смерть, и надо быть милостивым и снисходительным к умирающему даже в лагерном бараке.

Склонившись к иноку, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, о. Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповедь.

— Сердце сдало, — проговорил умирающий, назвав свое имя в иночестве „Михаил”, и начал исповедь.

Склонившись к лицу лежащего, о. Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила.

Иногда шепот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал, и тогда казалось, что он умер, но в эти мгновения глаза продолжали жить, и о. Арсений, вглядываясь в них, читал все то, что хотел рассказать еле слышный прерывающийся шепот.

Многих людей исповедовал о. Арсений в их последний смертный час, и эти исповеди всегда до глубины души потрясали его, но сейчас, слушая исповедь Михаила, о. Арсений отчетливо понял, что перед ним лежит человек необычайной, большой духовной жизни.

Умирал Праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям.

Умирал Праведник, и отец Арсений стал сознавать, что иерей Арсений недостоин поцеловать край одежды инока Михаила и ничтожен и мал перед ним.

Шепот прерывался все чаще и чаще, но глаза горели, светились, жили, и в них, в этих глазах, по-прежнему читал отец Арсений все, все, что хотел сказать умирающий.

Исповедуясь, Михаил судил сам себя, судил сурово и беспощадно. Временами казалось, что он отдалился от самого себя и созерцал другого человека, который умирал. Вот этого умирающего он и судил вместе с о. Арсением.

И о. Арсений видел, что житейский мир, как корабль со всеми его грузами тягот, тревог и горестей прошлого и настоящего уже отплыл от Михаила в далекую страну забвения, и сейчас осталось только то, что необходимо было подвергнуть рассмотрению, отбросив все наносное, лишнее и отдать это главное в руки присутствующего здесь иерея Арсения, и он властью Бога должен был простить и разрешить содеянное.

За считанные минуты, оставленные ему для жизни, должен был инок Михаил передать о. Арсению, все открыто показать Богу, осознать свои прегре-

шения и, очистившись перед судом своей совести, предстать пред судом Господа.

Человек умирал так же, как умирали физически многие и многие в лагерях на руках о. Арсения, но эта смерть потрясала и повергала отца Арсения в трепет, и он понимал, что Господь даровал ему великую милость, разрешив исповедовать этого праведника.

Господь показывал сейчас свое величайшее сокровище, которое Он долго и любовно растил, показывал до какой степени духовного совершенства может подняться человек, бесконечно полюбивший Бога, взявший по апостольским словам „иго и бремя” христианства на себя и понесший его до конца. Все это видел и понимал о. Арсений.

Исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть, как в невероятно сложных условиях современной жизни, во время революционных потрясений, культа личности, сложных человеческих отношений, официально поддерживаемого атеизма, общего попрания веры, падения нравственности, постоянной слежки и доносов и отсутствия духовного руководства, человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом.

Не в скиту или уединенной монастырской келье шел Михаил к Богу, а в сутолоке жизни, грязи ее, в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла, атеизма, богоборчества.

Духовного руководства почти не было, были случайные встречи с тремя-четырьмя иереями и почти годовое радостное общение с владыкой Федором, постригшим Михаила в монахи, а далее два-три коротких письма от него и неистребимое, горячее желание идти и идти ко Господу.

— Шел ли я путем веры, шел ли так, как надо, к Богу или шел неправильно? Не знаю, — говорил Михаил.

Но о. Арсений видел, что не только не отступил Михаил от предначертанного пути, на который направлял его владыка Федор, а далеко прошел по этому пути, опередив и превзойдя наставников.

Жизнь Михаила была подобна „битве в пути” за духовное и нравственное совершенство, среди обыденной жизни века сего, и о. Арсений понимал, что Михаил выиграл эту битву, битву, где он был один на один со злом, окружавшим его. И, живя среди людей, творил он добро во имя Бога и нес в душе, как пылающее пламя, слова апостола: „Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов”.

Отец Арсений понимал все совершенство и величие Михаила, сознавал свое ничтожество и страстно молил Господа дать ему, о. Арсению, силы облегчить последние минуты умирающего. Временами о. Арсению становилось беспомощно и в то же время восторженно от сознания близости с Михаилом, предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры.

И вот наступил момент, когда Михаил отдал все, что было на душе у него, отцу Арсению, и, отдав через него Господу, вопросительно взглянул на о. Арсения.

И, взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял отец Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал, затрепетал еще раз от сознания своего ничтожества и беспомощности

человеческой, и, провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, сперва внутренне зарыдал, а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего.

Михаил поднял глаза и, устремив их на о. Арсения, произнес:

— Спасибо! Успокойтесь! Настал час воли Божией, молитесь обо мне, пока живете на земле. Ваш земной путь еще долог. Прошу Вас, возьмите шапку мою, записка там к двум людям, души и веры они большой. Очень большой. Адреса написаны. На волю выйдете, передайте, и Вы им нужны, и они Вам. Номер на шапке перешейте. Молите Господа об иноке Михаиле.

Во все время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди его населяющие, обстановка барака — все отдалилось, ушло в какое-то небытие и только состояние близости Бога, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватили их обоих и поставили перед Господом.

Все мучительное, мятежное, человеческое ушло — был Бог, к Которому сейчас уходил один, а другой был допущен созерцать Великое и Таинственное — смерть, уход из жизни.

Умиравший, сжав руку отца Арсения, молился, молился столь проникновенно, что отделился от всего внешнего, а о. Арсений, прильнув к нему душой в молитвенном соединении, стремился от всего и благоговейно и безропотно шел за молитвой инока Михаила.

Но вот наступили минуты смерти, глаза умирающего засветились, загорелись тихим светом восторга и он еле слышно произнес:

— Не отрини меня, Господи!

Михаил приподнялся с нар, протянул вперед руки, почти шагнув, и громко произнес дважды: — Господи! Господи!

И потянувшись еще немного вперед, упал навзничь и сразу вытянулся.

Рука, державшая руку о. Арсения, разжалась, свистящее дыхание прекратилось, черты лица приобрели спокойствие, но глаза светились и с восторгом смотрели вверх, и о. Арсению показалось, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело.

Потрясенный отец Арсений упал на колени и стал молиться, не о душе и спасении умершего, а о той великой милости к нему, отцу Арсению, Милости, даровавшей, сподобившей увидеть Неувиданное, Непознаваемое и самое таинственное из тайн — смерть праведника.

Поднявшись с колен, отец Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого еще были раскрыты и озарены светом, но свет постепенно гас, озаренность пропадала, чуть заметная дымка вдруг покрыла их, потом веки медленно закрылись, по лицу пробежала тень, и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным.

Склонившись над телом о. Арсений молился, и хотя он только что присутствовал при смерти инока Михаила, на душе у него не было скорби, было спокойствие и внутренняя радость. Сейчас он видел Праведника, прикоснулся к Милости Божией и Славе Его.

Отец Арсений бережно оправил одежду умершего, поклонился телу Михаила, и вдруг осознал, что он находится в бараке, лагере „особого режима“, и мысль, как молния, еще и еще раз пришла к нему,

что Бог, сам Господь был сейчас здесь и принял душу Михаила.

Скоро должен был начаться подъем. Отец Арсений взял шапку Михаила, спорол номер со своей и его шапки, и пошел к старшему по бараку, сказать о смерти Михаила.

Старшой из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал.

Барак открыли, заключенные выбегали на поверку, строились. Перед входом в барак стояли надзиратели, старшой по бараку, подойдя к ним, сказал: „Мертвяк у нас Щ 382”.

Один из надзирателей вошел в барак, посмотрел на умершего, толкнул тело носком сапога и вышел.

Часа через два из санчасти приехали на санях за телом. Вошел врач из вольнонаемных, небрежно скользнул взглядом по телу Михаила, рукавицей поднял веко и брезгливо сказал дневальным: „Быстрее на отвоз”.

В санях уже лежало несколько трупов. Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключенных. Возница стал усаживаться на перекладину саней, опираясь ногами на окоченевшие тела мертвых.

Было морозно и тихо, шел редкий снег и, падая на лица мертвых, медленно таял, отчего казалось, что они плачут.

Около барака стояли надзиратели, разговаривая с врачом, дневальные и отец Арсений, прижавший к груди руки и молящийся про себя.

Сани тронулись, о. Арсений, низко поклонившись, перекрестил мертвых и вошел в барак.

Возница, дергая вожжами, отвратительно ру-

гаясь, понукал лошадей, и сани, медленно двигаясь, скрылись за баракком.

Записано в 1960 году со слов о. Арсения. В 1966 г. разрозненные записи были систематизированы иеромонахом Андреем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОШЛОГО

(о Михаиле)

Здоровье и силы возвращались медленно. За три года, прошедших с момента освобождения, о. Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда держащийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека, а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли тебя забывать, что он тяжело болен и устал.

Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал.

Там, в лагере „особого” режима, он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны были особенно сказываться. Здесь, на воле, болезни обострились: суставной ревматизм, жестокая, внезапно приходящая стенокардия, часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали о. Арсения к постели.

Годы и болезни наступали неумолимо, но о. Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезни он скрывал от окружающих, и только внимательные

глаза врача Ирины подмечали его заболевания, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель.

Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа, он говорил с приезжавшими друзьями, писал или диктовал ответы на письма.

Писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал. Хорошо, если это был один человек, бывали дни, особенно в выходные, когда приезжало до десяти человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизнь и дать ответ.

Без молитвы о. Арсений не мог жить, а на нее не оставалось времени, поэтому молился он, в основном, ночью, и без того сокращая короткий промежуток времени, отведенный для сна.

Друзья и духовные дети любили его, но как-то получалось так, что, приезжая или присылая письмо на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у о. Арсения, а в результате все это складывалось в огромную, непосильную работу для тяжелобольного человека, и получалось, что каждый из нас жалел его и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, но все вместе губили и утомляли его.

Иногда возникала необходимость поездки о. Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми.

В конце 1960 года о. Арсений решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми двумя людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил. (Вспомните воспоминание о Михаиле.)

Сопровождала его я. Приехали рано утром. Отец

Арсений не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилом. Я отговаривала и предлагала съездить самой, узнать, живут ли они еще по этим адресам, но он ответил: „Не надо, поедemте. Они не уехали”.

Вышли на вокзальную площадь, было шумно и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, путано и бестолково.

Отец Арсений не захотел ехать на такси, а, спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил меня к остановке.

Ехали молча. Отец Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы. Сошли где-то посередине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону.

Дом был большой, шестиэтажный, светлый, с двумя широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые.

Поднялись на лифте на четвертый этаж. На входной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого нами человека.

Я позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина лет сорока пяти, выйдя на площадку, спросила:

— Вам кого?

Отец Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры.

Вытирая руки о передник, женщина приветливо сказала:

— Проходите.

Мы вошли в переднюю. „Подождите, он сейчас

выйдет” — и, приоткрыв дверь в одну из комнат, негромко сказала:

— Сергей Сергеевич! К Вам пришли.

И почти тотчас в переднюю вышел высокий человек с красивым удлинённым лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали своей живостью и пронизательностью. Окинув нас взглядом, он спросил довольно резко:

— Чем могу служить?

— Я по одному давнему поручению пришел к Вам, — ответил о. Арсений.

— Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь.

Мы разделись, втиснув наши пальто на вешалку, и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич.

Огромный письменный стол стоял у окон и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен, сплошь завешанных картинами вперемежку со старинными иконами.

Тяжелые и высокие шкафы были заставлены книгами, книги заполняли стол и лежали на некоторых креслах.

Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью.

Вся обстановка комнаты и ее хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича.

— Чем могу служить? — повторил Сергей Сергеевич и пригласил нас садиться.

Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола.

— В 1952 году было угодно Богу встретить мне человека Михаила Терпугова. Встретились с ним в

лагере „особого” режима, из которого сам вышел только в конце 1957 года. Исповедуясь, Михаил назвал мне Вашу фамилию и адрес и просил обязательно встретиться с Вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Просил не забыть его в молитвах Ваших и рассказать о последних минутах его жизни.

Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, глаза его стали еще темнее и в них промелькнуло нечто тревожное.

Несколько мгновений смотрел он неподвижно на о. Арсения, потом резко встал и, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Простите, но не ко мне вы. Ошиблись, вероятно, адресом.

Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то, похожее на стон, произнесла со слезами в голосе:

— Сережа!

— Оставь, Лиза!

— Да! Да! Ошиблись. Пришли не по тому адресу. Извините! Не задерживаю! Ошибка у вас произошла, государи мои милостивые, — произнес взволнованно Сергей Сергеевич, и в произнесенной им фразе чувствовалось, что слова „Государи мои милостивые” звучали насмешливо.

Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто о. Арсению.

Женщина осталась стоять в комнате, но потом быстро подбежала к о. Арсению и, схватив его за руку, сказала:

— Скажите, кто Вы? Как Ваше имя?

— Петр Андреевич Стрельцов — иеромонах Арсе-

ний, — и также назвал и мое имя. Приехали из Р... специально к вам.

— Подождите! Не уходите, вернитесь, сядьте. Подождите двадцать минут. Не уходите. Не сердись, Сережа! — И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону.

Мы растерянно стояли в передней.

Из комнаты слышались взволнованные возгласы:

— Это я, Лиза! Прошу тебя, немедленно приходи. Понимаешь, немедленно. Бросай все. Очень, очень надо. Все узнаешь, поможешь.

Сергей Сергеевич угрюмо стоял около нее.

Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала:

— Прошу вас, разденьтесь и подождите минут двадцать, может быть, я вам чем-нибудь и помогу. Сережа! Не сердись, сейчас все разъяснится.

Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеевич как-то беспомощно и растерянно сел за письменный стол.

Женщина побежала на кухню и минут через пять на столе стояли чайник, чашки и что-то из печенья.

Некоторое время молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо, пересиливая себя, рассказал нам о двух трех пейзажах, назвав имена известных художников, но о. Арсений, встав, подошел к одной из икон Божией Матери и стал ее внимательно рассматривать, а, рассмотрев, сказал:

— Прекрасная икона! Такого иконописного и в то же время Божественно-человеческого лица Божией Матери редко удавалось увидеть на иконах.

— Сереже тоже нравится эта икона, но он все еще не может определить точно место и время ее написания. Вы понимаете в иконах?

— Должен понимать, — ответил о. Арсений и, еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать.

— Разрешите снять и взять в руки, — обратился он к Сергею Сергеевичу. Тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать о. Арсению.

Отец Арсений протянул к иконе руки. Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтобы незнакомый человек брал икону, но, взглянув на о. Арсения, сразу передал ему ее.

Я и стоявшая женщина с удивлением смотрели на о. Арсения. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры был так молитвенен, благостен, что, казалось, брал он Причастную Чашу с Кровью и Телом Спасителя, и это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеевич.

Держа икону в руках и, подойдя с ней к окну, бережно осматривал ее о. Арсений. Взгляд его, строгий и молитвенный, долго и пытливо задерживался на изображении. Наклоняя икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпильки, а затем торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол.

Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону, и мне захотелось вскрикнуть: таким несказанно дивным вдруг оказался лик Божией Матери. Там, на стене, этого не было видно.

На руке Божией Матери свободно сидел Младенец, и Она, Мать, прижимала Его к Себе и смотрела взором полным нежности и любви на Младенца

Своего, и в то же время в глазах ее лежала затаенная скорбь, ибо знала участь Сына Своего и знала, для чего должна была растить Его, знала о предстоящей крестной Его смерти.

И, казалось, материнская любовь и божественное знание и предначертание жизни Сына и Его страдания жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен.

Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону, полный какого-то особого восторга, он увидел ее такой впервые.

Нежная кружевная вязь золота, разбежавшаяся по одежде Матери и Младенца, подчеркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке Матери была милость, и лицо говорило: „Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные. Приидите, Я успокою вас!”

Оторвав глаза от иконы, я взглянула на Сергея Сергеевича. Он смотрел, пораженный, на лежащую на скатерти икону, он увидел ее впервые, он просто не видел ее такой раньше.

Медленно подняв голову, он посмотрел на о. Арсения, и я поняла, что он уже верит ему, и он хочет, чтобы о. Арсений оказался именно тем человеком, который знал Михаила.

Отец Арсений распрямился и, смотря на икону, произнес:

— Разве важно место и время написания, разве надо знать мастера. Это нужно искусствоведам. Вы взгляните на лик Младенца и Матери Божией и, если Вы верующий, поймете, что один человек без помощи Божией не мог бы написать такую икону. Взгляните! Когда написана? В начале XVII века в Великом Устюге. Мастер? Знает Бог один, который

вдохновлял иконописца. Доска очень старая и много раз записанная, а эта запись реставрировалась, но очень давно. Все это неважно, в этой иконе живет Дух Божий. Взгляните, каким беспредельным душевным миролюбием и добротой веет от лика Младенца и Матери Божией. Иконописец был полон любви и веры Христовой и свой великий талант он умножил верой и любовью, и поэтому лик Богородицы стал духовно-вещественен. Он утешает всех, кто изнемогает в скорбях и печали, кто обездолен, наг, сир, кто находится в узах, кто терял веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверн и страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовет нас к себе, дает нам надежду на спасение.

В передней раздался звонок.

Елизавета Андреевна, как нам потом представил ее Сергей Сергеевич, кинулась открывать дверь.

В передней разговор велся шепотом. Говорили две женщины, слышалось, что снимали пальто.

Сергей Сергеевич напряженно смотрел на дверь, весь вид его говорил, что для него было бы ужасно, если о. Арсений окажется не тем человеком, за которого он несколько минут назад принял его.

Дверь в комнату порывисто открылась, вошла Елизавета Андреевна и за ней женщина, которая, взглянув на о. Арсения, бросилась к нему с криком:

— Отец Арсений! Отец Арсений! Как же Вы не сообщили о своем приезде? Господи! Как хорошо, что Вы приехали! Лиза говорит, что Сергей Сергеевич Вас за шпика принял. Я о Вас Лизе расска-

зывала, вот она и догадалась мне позвонить. Давно хотела Сергея с Лизой к Вам привезти, а Вы сами приехали! Господи! Это же замечательно. Благословите!

И сразу все переменилось. Отец Арсений прожил у Сергея Сергеевича четыре дня. Второго знакомого Михаила я разыскала и пригласила к о. Арсению.

На обратном пути о. Арсений сказал мне: „Неисповедимы пути Господни, сколько прекрасного, нужного дала мне эта встреча”.

Потом в течение многих лет встречала я у о. Арсения Сергея Сергеевича, Лизу и третьего ленинградского друга инока Михаила.

1967 г.

НАКАНУНЕ

Привезенная отцом и матерью в многомиллионный город умирала на квартире у родственников двенадцатилетняя девочка.

Умирала от рака.

Дважды оперировали ее врачи. Но внезапно появившийся на темени бугор рос. Срезанный, давал дочерние бугорки. Метастазы проникли в плечо, в легкие.

Остриженная, изуродованная операциями девочка лежала на тахте в чужой комнате, видела как за окном падает снег. То отец, то мать склонялись над ней, подносили лекарства, питье. Есть она уже почти не могла. Не могла и говорить громко, только шептала: „Не волнуйтесь, мамочка и папочка, я поправлюсь”.

Отец метался по онкологическим клиникам, платным консультантам. Знал, дочь обречена, и все-таки слепая надежда гнала его то к людям, будто бы изобретшим некое средство от рака, то к травникам, то к парапсихологам. Но никто не мог помочь его ребенку.

И вот, когда обращаться за помощью стало уже некуда, он знакомится со случайным человеком, в отчаянии рассказывает ему о своем горе.

Человек этот — доживший до пятидесяти лет вечный юноша, неудачник и забулдыга, везет отца девочки к товарищу школьных лет, ко мне, пишущему эти строки.

Так из людского моря возникает в моей комнате бесконечно усталый, растерянный, но сохраняющий достоинство человек. „Могу ли я помочь его дочери?“

Я знаю, что могу, в самом главном, решающем — могу, но сказать это вот так, сразу, очень трудно.

Наконец, говорю.

Сквозь горе, сквозь невыплаканные слезы со дна глаз — недоумение, граничащее с ужасом: „Дочку мою — крестить? Зачем?! Что это даст?“

Я — не священник, обыкновенный „труждающийся и обремененный“, сравнительно недавно пришедший к Христу, к Его учению. Знаю — все в этом учении — истина, окончательная, последняя. Тем более знаю, что Господь наш Иисус Христос жив среди нас, является людям...

А тут девочка умирает. Можно ли скрыть от ее отца, неверующего, члена партии, что посмертное состояние души этой, неведомой мне девочки, н а в е ч н о зависит от того будет она крещена или нет? И дискуссии разводить некогда, некогда объяснять, что самые прекрасные, невинные дети могут страдать за грехи отцов, предков... Дорог каждый день, может быть, каждый час. Говорю: „Идите в церковь, зовите священника. И обязательно подготовьте девочку“.

Пряатель мой, своих детей не имеющий, сидит потерянно, раздавленный чужой бедою. „Может быть дать свое Евангелие? — спрашивает он.

„Дай, — говорю, — раз девочка в сознании, читайте ей главу за главой. Все время читайте”.

И приятель уводит в зимний непроглядный вечер отца девочки, чтобы дать то самое Евангелие, которое я подарил ему полгода назад, надеясь спасти заблудшую добрую грешную душу...

Через двое суток, утром, он звонит, сообщает убито:

— Ничего не выходит. Девочка не согласна, родители не хотят.

— А как девочка, в каком она состоянии?

— Дают кислород. Все время „неотложки”.

— Ты там был? Видел ее?

— Не был. Не видел.

— Хоть как ее зовут, знаешь?

— Галя.

Молюсь за Галю. Ничего иного не могу делать. Уже и день кончается. Ничто иное не идет на ум — умирает, уходит в вечность неизвестная мне девочка... Молюсь за Галю, некрещенную Галю.

В девятом часу вечера взрывается дребезгом телефон. Опять приятель:

— Звонил отец. Они согласны. Галя согласна. Где найти священника?

Девятый час. В церквях заканчиваются службы...

Набираю номер телефона знакомого мне батюшки, который служит далеко за городом. Наверняка сейчас его дома нет.

Он дома! По редкостному стечению обстоятельств — дома, только что пришел, голос усталый, но твердый:

— Скорей заезжайте за мной. Куда ехать? Где это?

Перезваниваю приятелю, тот — родителям девочки. Оказывается, ехать куда-то на окраину нового района, почти у кольцевой дороги.

За окном снег летит на свет фонаря. Метель.

Приятель заезжает на такси, вместе мчимся через центр города. Крепнет ощущение намагниченности времени, его уплотнения. Какая-то сила властно проступает в сцеплении событий, причин и следствий — надо же было после десятков лет размолвки снова сойтись с приятелем школьных лет, подарить ему Евангелие, надо же было встретить ему отца девочки, привести ко мне, а мне быть знакомому со священником, а тому именно в этот, решающий час оказаться дома!..

Вот он одиноко стоит на тротуаре, осыпaeмый снегом. Распахиваю дверцу. Уже садясь в машину, спрашивает:

— А крестик есть, взяли с собой?

— Нет.

Выходит из такси, бежит обратно в дом, скрывается в подъезде.

Ждем виновато. И ведь крестик у меня есть. Не подумал, не взял.

Наконец, вернулся. Едем.

Шофер по нашим малым репликам сообразил кого и зачем везет. Посуровел, с лица сошло обычное для таксистов сквалыжное выражение. Еще молодой, видимо, ровесник нашего устало при-молкшего батюшки.

Долго едем, долго ищем нужный корпус, нужный подъезд. Как будто здесь. Поднимаемся в лифте.

Дверь. Незапертая, как обычно, когда несчастье. Настороженная тишина. И в этой тишине из коридорчика возникает мама. Неожиданные — без слез,

как бы до онемения изумленные чем-то глаза. А чем изумленные — узнали мы часом позже, после совершения таинства.

Оказывается около 12-ти дня отец все-таки решился, сел рядом с дочкой, раскрыл Евангелие, начал что-то говорить о крещении...

Умиравшая тотчас прогнала его:

— Уйди от меня. И больше не подходи. Позови маму. Я — пионерка. Слышать ни о каком крещении не хочу. Уйди.

И он потерянно отошел, позвал мать.

Не успела она приблизиться к тахте, как увидела — дочка умирает: лицо стало восковым, дыхание прекратилось, закатились глаза.

Схватила руками лицо своей девочки, стиснула в бессильной муке, и вдруг почувствовала — под ладонями дрогнули, шевельнулись ресницы.

— Что с тобой, доченька?

Глаза Гали глядели строго, прямо. Лицо порозовело.

— Я летала. Я видела сверху тебя, и папу, и всех. И еще что-то, чего нельзя говорить. Немедленно зовите п о п а ! Если не позовете — когда выздоровлю, сама пойду в церковь. Скорей зовите!

Но позвонили они моему приятелю только вечером.

И вот мы входим в комнату, где у окна на тахте лежит девочка. С первого взгляда поражает лицо. Невозможно поверить, что умирающей двенадцать лет — все возрасты как бы собрались воедино. Озаренное необычайной духовной красотой большеглазое лицо женщины, человека...

Батюшка — высокий, тонкий, в облачении, — нагибается над ней, и навстречу ему — улыбка. Будто

девочка не первый раз видит священника, будто нет в ней смертной усталости. Такая улыбка.

Боюсь разреветься. Спрашиваю — где отец. Оказывается, поехал за кислородными подушками. Помогаю, как могу, прикрепляю к миске, где налита вода для освящения, три горящих свечи. Одна все время падает, падает...

Все мы — и мама девочки, и мой приятель, стоящий поодаль, физически ощущаем себя участниками начавшегося таинства. Происходит нечто недоступное уму, разумению. Происходит. В вязком, сгустившемся пространстве трепетно звучат слова молитв, мерцают огни трех свечек над уже освященной водой.

Волнуется священник. Все мы волнуемся. Позже он скажет, что никогда не встречал человека так сознательно принимающего Крещение.

Лишь Галя спокойна. Глаза внимательные, всепонимающие, словно видят еще и то, что мы не видим...

Свершилось. На Галиной худенькой, детской груди — крестик.

Священник причащает ее, подносит на серебряной ложечке частицу Тела Господня.

Мать шепчет сзади:

— Она не может ничего проглотить.

— Смогу, — отзывается Галя, — я смогу.

И проглатывает. И запивает...

Батюшка — весь сострадание, доброта и любовь, склоняясь над безгрешным, уходящим из этого мира человеком, тихо просит:

— Галя, молись за нас...

— Конечно, — убежденно отвечает девочка. — Я знаю. Обязательно.

Откуда она знает? Что ей было показано в момент восхищения в другой мир? Тайна.

Галя умерла на следующий день — 12 января 1981 года. Днем. В 12 часов.

Помолимся и мы о ней!

СОДЕРЖАНИЕ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

- Св. Д и м и т р и й Ростовский. Слово
на Покров Пресвятой Богородицы 5

ОТЦЫ ЦЕРКВИ

- Св. Г р и г о р и й Богослов. Слово 16
на память святых мучеников Маккавеев 14

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО

- У м н о е д е л а н и е. Иисусова молитва.
Изречения св. отцов и подвижников
благочестия 30
- Отец Николай Г о л у б ц о в. Проповеди 80

РУССКИЕ ПРАВЕДНИКИ

- Митрополит В е н и а м и н. Рассказы
о подвижниках благочестия 85

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

- Старец С а м п с о н. Биография. Рассказы
о себе. Беседы с духовными детьми. Кончина 123

РУССКИЕ СУДЬБЫ.

ВОСПОМИНАНИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА. РАССКАЗЫ.

З. В. П е с т о в а. Поездка в Саров	170
* * * Сокровища Введенских гор	217
Александр Добровольский. Десять мин. <i>Рассказы</i>	255
А л е к с а н д р. „Отец Арсений”	304
Р. Г. Накануне	326